ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ



Молодая гвардия · 1956



ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ

Дневник и письма

*Издательство ЦК ВЛКСМ
„Молодая гвардия"
1956*

Перевод с польского

„Из дневника“ перевод *Ф. Я. Кона*

„Письма к родным“
перевод *С. С. Дзержинской*,
Я. Ф. Дзержинского, *Ф. Я. Кона*
и *М. Ф. Развадовской*.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Феликс Эдмундович Дзержинский, верный ученик и соратник великого Ленина, был пламенным борцом за дело коммунизма.

«Железным Феликсом» назвал Дзержинского наш народ. О нем говорят и пишут как о рыцаре революции — рыцаре без страха и упрека. Сам он называл себя солдатом революции.

Владимир Маяковский говорил, обращаясь к нашей молодежи:

Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему,
сделать бы жизнь с кого,
скажу,
не задумываясь:
— Делай ее
с товарища
Дзержинского.

Вся жизнь Феликса Эдмундовича Дзержинского служит для нашей молодежи вдохновляющим примером борьбы за счастье народа.

Семнадцатилетним юношей Феликс Эдмундович дал торжественную клятву бороться до последнего дыхания против всякого гнета и эксплуатации. И эту свою юношескую клятву он свято сдержал.

Почти четверть своей жизни, одиннадцать лет, он провел в царских тюрьмах, в ссылках, на каторге. За-

кованный в кандалы, на годы погребенный в каменный мешок тюрьмы, он умел и в такой обстановке находить силы для жизни и борьбы. «Чем ужаснее ад теперешней жизни, тем яснее и громче я слышу вечный гимн жизни, гимн правды, красоты и счастья... Жизнь даже тогда радостна, когда приходится носить кандалы», — писал Дзержинский 2 июня 1914 года после суда, приговорившего его к каторге.

Тюремный дневник Феликса Эдмундовича и его письма к родным, публикуемые в этом сборнике, показывают, как в тяжелых испытаниях закалялась воля этого выдающегося революционера, росло его мужество в борьбе за великие идеи освобождения людей труда от рабства и эксплуатации.

В дневнике и письмах Ф. Э. Дзержинского нет летописи его жизни. Но в каждой строке видны богатство мысли и высокая идейность Дзержинского, обладавшего необычайной силой любви к трудящемуся человечеству и ненависти к угнетателям.

Дневник и письма раскрывают исключительную цельность натуры Дзержинского, его безграничную преданность партии, непоколебимую веру в народные массы и торжество коммунизма, те черты характера, которые сделали его подлинным слугой народа, воплощением всех лучших качеств коммуниста.

Свой дневник Феликс Эдмундович вел в X павильоне Варшавской цитадели, одной из самых мрачных тюрем царизма, в которой содержались наиболее опасные для царского самодержавия революционеры. Первая запись сделана 30 апреля 1908 года, последняя — 8 августа 1909 года. Это было время самой страшной реакции.

Многие страницы дневника посвящены фактам кровавого разгула царских властей: издевательствам над узниками, пыткам, карцеру и виселице. Дневник показывает всю мерзость, подлость царского режима, всю низость прислужников царизма: жандармов, шпионов, провокаторов, предателей. В то же время немало страниц дневника отведено образам героев, мужественно переносивших все тяготы тюрьмы, отважно шедших на виселицу во имя своей идеи.

Дневник Ф. Э. Дзержинского в подлиннике, на польском языке, был напечатан еще в 1909—1910 годах в журнале «Пшегленд социаль-демократычны» — нелегальном органе марксистской партии польского пролетариата, социал-демократии Польши и Литвы. В кратком введении к «Дневнику» указывалось, что это не только волнующий человеческий документ, но и исторический документ немалого значения для истории революции.

Дневник и письма относятся к периодам, когда Феликс Эдмундович находился в тюрьмах, на каторге, в ссылке и отчасти в эмиграции, то-есть когда он, вопреки своей воле, был отрезан от непосредственной революционной жизни. Поэтому они не отражают всей огромной и многогранной деятельности революционера-борца. Но они показывают, что и в эти тяжелые моменты вынужденной бездеятельности Феликс Эдмундович жил лишь одной мыслью, одним стремлением — служить делу революции.

Преодолевая тюремные преграды, Феликс Эдмундович в своем дневнике и письмах откликался на явления общественной жизни того времени.

В дневнике, который ежеминутно мог стать добычей тюремщиков, Дзержинский не мог открыто писать, называя все своими именами, ни о партийных делах, ни о текущих событиях рабочего движения.

Особенно это относится к письмам Дзержинского. Из тюрьмы разрешалось писать только о личных и семейных делах. Письма подвергались тюремной или жандармской цензуре, часто даже химической. Лишь изредка удавалось отправить из тюрьмы письмо нелегальным путем. Но и тогда не было уверенности, что оно не попадет в руки полиции. Поэтому даже в таких письмах много иносказаний и условных выражений.

Письма Ф. Э. Дзержинского полны заботы о товарищах по борьбе, о родных и близких, особенно о детях. Детей он страстно любил, видя в них будущее человечества, ради которого боролся. В письмах к сестре Феликс Эдмундович с проникновенной нежностью пишет о воспитании ее детей, дает советы, как вырастить детей здоровыми и сильными духом, правдивыми

и честными, не эгоистами, а людьми, умеющими жить для других. «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека, какое он только может достигнуть. Тогда человек не боится ни страданий, ни боли, ни горя, ни нужды. Тогда человек перестает бояться смерти, хотя только тогда он научится по-настоящему любить жизнь» (письмо от 16 июня 1913 года).

Письма Феликса Эдмундовича ко мне часто целиком посвящены сыну. Огромной отцовской любовью дышит каждая строка. Насильно разлученный тюремщиками с семьей, Дзержинский не видел сына до его семилетнего возраста.

Но и самую любовь к сыну Феликс Эдмундович подчинял основной идее — воспитанию подрастающего поколения в духе самоотверженной борьбы за освобождение трудящихся.

Вот его мысли о воспитании сына: «Не тепличным цветком должен быть Ясь. Он должен... в жизни быть способным к борьбе во имя правды, во имя идеи. Он должен в душе обладать святыней более широкой и более сильной, чем святое чувство к матери или к любимым, близким, дорогим людям. Он должен суметь полюбить идею, — то, что объединит его с массами, то, что будет озаряющим светом в его жизни... Это святое чувство сильнее всех других чувств, сильнее своим моральным наказом: «Так тебе следует жить, и таким ты должен быть» (письмо от 24 июня 1914 года).

Феликсу Эдмундовичу с его исключительно деятельной натурой и кипучей энергией порой тяжко было переносить полный отрыв от жизни, «бессмысленное прозябание» в тюрьме. Но он черпал силы в ясном сознании великой цели своей борьбы, он мечтал о светлом будущем — о коммунизме.

Иногда Феликсу Эдмундовичу казалось, что тюрьма отнимает у него все физические силы и что, выйдя после долгих лет каторги на свободу, он не в состоянии будет «жить, быть полезным». Но вера в торжество коммунизма всегда побеждала. «...Тот, у кого есть идея и кто жив, — писал он, — не может быть бесполезным... Пока теплится жизнь... я буду землю копать,

делать самую черную работу, дам все, что смогу... Нужно свой долг выполнить, свой путь пройти до конца...» (письмо от 19 января 1914 года).

В письмах от 1915—1916 годов Феликс Эдмундович часто пишет о близкой встрече с родными, выражая этим свою веру в близкую победу революции.

Освобожденный из тюрьмы Февральской революцией, Феликс Эдмундович сразу же окунулся в свою революционную «стихию». Он горел в борьбе за победу Великого Октября, а потом — в борьбе с контрреволюцией, на работе по восстановлению разрушенного транспорта, по строительству нашей промышленности, по укреплению единства и мощи нашей партии.

Герой Октябрьского восстания и один из его руководителей, гроза буржуазии, верный рыцарь пролетариата, благороднейший борец коммунистической революции, вечный труженик и бесстрашный солдат великих боев — так охарактеризован Ф. Э. Дзержинский в обращении ЦК и ЦКК Коммунистической партии «Ко всем членам партии, ко всем рабочим, ко всем трудящимся, к Красной Армии и Флоту» по поводу кончины этого выдающегося революционера.

Дневник и письма Ф. Э. Дзержинского ярко освещают его прекрасную жизнь. Они показывают, сколько испытаний пришлось вынести в царское время борцам за свободу и счастливую жизнь народа. Они учат нашу молодежь еще сильнее любить свою славную Родину, советский социалистический строй и беззаветно бороться за победу коммунизма.

С. Дзержинская



АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я в 1877 году. Учился в гимназии в г. Вильно. В 1894 году, будучи в 7-м классе гимназии, вхожу в социал-демократический кружок саморазвития. В 1895 году вступаю в литовскую социал-демократию, учусь сам марксизму и веду кружки ремесленных и фабричных учеников. Там меня в 1895 году и окрестили Яцеком. Из гимназии выхожу сам добровольно в 1896 году, считая, что за верой должны следовать дела и надо быть ближе к массе и самому с ней учиться. В 1896 году прошу товарищей посылать меня в массы, не ограничиваясь кружками. В то время у нас в организации шла борьба между интеллигенцией и рабочими верхушками, которые требовали, чтобы их учили грамоте, общим знаниям и т. д., а не совались не в свое дело, в массы. Несмотря на это, мне удалось стать агитатором и проникать в совершенно нетронутые массы — на вечеринки, в кабаки, там, где собирались рабочие.

В начале 1897 года меня партия послала, как агитатора и организатора, в Ковно — промышленный город, где тогда не было социал-демократической организации и где недавно провалилась организация ППС [1]. Здесь пришлось войти в самую гущу фабрич-

[1] ППС — мелкобуржуазная, националистическая Польская социалистическая партия.

ных масс и столкнуться с неслыханной нищетой и эксплуатацией, особенно женского труда. Тогда я на практике научился организовывать стачку.

Во второй половине того же года меня арестовывают на улице по доносу рабочего-подростка, соблазнившегося 10 рублями, обещанными ему жандармами. Не желая обнаружить своей квартиры, называюсь жандармам Жебровским. В 1898 году меня высылают на три года в Вятскую губернию — сначала в Нолинск, а затем в наказание за строптивый характер и скандал с полицией, а также за то, что стал работать набойщиком на махорочной фабрике, — высылают на 500 верст дальше на север, в село Кайгородское. В 1899 году на лодке бегу оттуда, так как тоска слишком замучила. Возвращаюсь в Вильно. Застаю литовскую социал-демократию ведущей переговоры с ППС об объединении. Я был самым резким врагом национализма и считал величайшим грехом, что в 1898 году, когда я сидел в тюрьме, литовская социал-демократия не вошла в единую Российскую СДРП... Когда я приехал в Вильно, старые товарищи были уже в ссылке — руководила студенческая молодежь. Меня к рабочим не пустили, а поспешили сплавить за границу, для чего свели меня с контрабандистами, которые повезли меня в еврейской «балаголе» по Вилкомирскому шоссе к границе. В этой «балаголе» я познакомился с одним пареньком, и тот за десять рублей в одном из местечек достал мне паспорт. Доехал тогда до железнодорожной станции, взял билет и уехал в Варшаву, где у меня был один адрес бундовца. В Варшаве тогда не было социал-демократической организации. Только ППС и Бунд [1]. Социал-демократическая партия была разгромлена. Мне удалось завязать с рабочими связь и скоро восстановить нашу организацию, отколов от ППС сначала сапожников, а затем целые группы столяров, металлистов, кожевников, булочников. Началась отчаянная драка с ППС, кончавшаяся неизменно нашим

---

[1] **Бунд** — всеобщий еврейский социал-демократический союз, оппортунистическая мелкобуржуазная националистическая партия, стоявшая на меньшевистских позициях.

успехом, хотя у нас не было ни средств, ни литературы, ни интеллигенции. Прозвали рабочие меня тогда Астрономом и Франком.

В феврале 1900 года на собрании меня уже арестовали и держали сперва в X павильоне Варшавской цитадели, затем в Седлецкой тюрьме.

В 1902 году выслали на пять лет в Восточную Сибирь. По дороге в Вилюйск летом того же года бежал на лодке из Верхоленска вместе с эсером Сладкопевцевым. На этот раз поехал за границу — переправу мне устроили знакомые бундовцы. Вскоре после моего приезда в Берлин, в августе месяце, была созвана наша партийная — социал-демократии Польши и Литвы — конференция, где было решено издавать «Червоны Штандар». Поселяюсь в Кракове для работы по связи и содействию партии из-за кордона. С того времени меня называют Юзефом.

До января 1905 года езжу от времени до времени для подпольной работы в русскую Польшу [1]. В январе переезжаю совсем и работаю в качестве члена главного правления социал-демократии Польши и Литвы. В июле арестовывают на собрании за городом, освобождает октябрьская амнистия [2]. В 1906 году делегируют меня на объединительный съезд в Стокгольм. Вхожу в ЦК РСДРП в качестве представителя от социал-демократии Польши и Литвы. В августе — октябре работаю в Петербурге. В конце 1906 года арестовывают в Варшаве и в июне 1907 года освобождают под залог.

Затем снова арестовывают в апреле 1908 года. Судят по старому и новому делу два раза, оба раза дают поселение и в конце 1909 года посылают в Сибирь — в Тасеевку. Пробыв там семь дней, бегу и через Варшаву еду за границу. Поселяюсь снова в Кракове, наезжая в русскую Польшу.

В 1912 году приезжаю в Варшаву. 1 сентября меня

---

[1] Русская Польша — так называли часть Польши, входившую в то время в состав России.

[2] Октябрьская амнистия — амнистия после царского манифеста 17 октября 1905 года.

арестовывают, судят за побег с поселения и присуждают к 3 годам каторги. В 1914 году, после начала войны, вывозят в Орел, где и отбыл каторгу, пересылают в Москву, где судят в 1916 году за партийную работу периода 1910—1912 годов и прибавляют еще 6 лет каторги. Освободила меня Февральская революция из Московского централа. До августа работаю в Москве, в августе делегирует Москва на партсъезд, который выбирает меня в ЦК. Остаюсь для работы в Петербурге.

В Октябрьской революции принимаю участие как член Военно-Революционного Комитета, затем после его роспуска мне поручают сорганизовать орган борьбы с контрреволюцией — ВЧК (7 декабря 1917 года), председателем которой меня назначают.

Меня назначают Народным Комиссаром внутренних дел, затем, 14 апреля 1921 года, и путей сообщения.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ.
1921 г.

От редакции.

С 1917 года Ф. Э. Дзержинский — член ЦК Коммунистической партии, с 1924 года — кандидат в члены Политбюро ЦК партии. В 1924 году Ф. Э. Дзержинский назначается председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. В то же время он продолжает руководить Объединенным Государственным Политическим Управлением.

Ф. Э. Дзержинский умер 20 июля 1926 года от разрыва сердца, после пламенной речи на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), направленной против троцкистско-зиновьевской оппозиции.



ИЗ ДНЕВНИКА
1908—1909 годы

30 апреля 1908 года

Всего две недели я вне живого мира, а кажется, будто прошли целые столетия. Мысль работала, охватывая минувшее время — время лихорадочного действия, — и доискивалась содержания, сущности жизни. На душе спокойно, и это странное спокойствие совершенно не соответствует ни этим стенам, ни тому, что покинуто мною за этими стенами... Слозно на смену жизни пришло прозябание, на смену действия — углубление в самого себя.

Сегодня я получил эту тетрадь, чернила и перо. Хочу вести дневник, говорить с самим собою, углубляться в жизнь с тем, чтобы извлечь из этого все возможное и для самого себя, а может быть, хоть немного и для тех друзей, которые там думают обо мне и душой болеют за меня, — и этим путем сохранить силы до возвращения на волю.

Завтра первое мая. В охранке какой-то офицер, сладко улыбаясь, спросил меня: «Слыхали ли вы о том, что перед вашим праздником мы забираем очень много ваших?» Сегодня зашел ко мне полковник Иваненко, жандарм, с целью узнать, убежденный ли я «эсдек» [1], и, в случае чего, предложить мне пойти на службу

---

[1] «Эсдек» — социал-демократ. — Ред.

к ним... «Может быть, вы разочаровались?» Я спросил его, не слышал ли он когда-либо голоса совести и не чувствовал ли он хоть когда-нибудь, что защищает дурное дело.

В том же коридоре, в котором нахожусь я, сидит предатель — слесарь Михаил Вольгемут, член боевой организации ППС, захваченный под Соколовом после кровавого нападения на почту, во время которого было убито шесть или семь солдат. Когда жандармы перехватили его записку к товарищам с просьбой отбить его, начальник охранки Заварзин[1] уговаривал его в течение 10 часов, обещая в награду за предательство освободить его, — и он сделался предателем. К делу было привлечено 27 человек, в том числе семнадцатилетние юноши и девушки. Я вижу его на прогулке, он ходит угрюмый, пришибленный и, насколько я смог заметить, никогда не разговаривает с товарищем по прогулке и ни с кем не перестукивается.

Где выход из ада теперешней жизни, в которой господствует волчий закон эксплуатации, гнета, насилия? Выход — в идее жизни, базирующейся на гармонии, жизни полной, охватывающей все общество, все человечество, выход в идее социализма, идее солидарности трудящихся. Эта идея уже близится к осуществлению, народ с открытым сердцем готов ее принять. Время для этого уже настало. Нужно объединить ряды проповедников этой идеи и высоко нести знамя, чтобы народ его увидел и пошел за ним. И это в настоящее время насущнейшая из задач социал-демократии.

Социализм должен перестать быть только научным предвидением будущего. Он должен стать факелом, зажигающим в сердцах людей непреодолимую веру и энергию.

Небольшая, но идейно сильная горсть людей объединит вокруг себя массы, даст им именно то, чего им недостает, что оживит их, вселит в них новую надежду.

Правительство убийц не наладит порядка, не повернет жизнь в старое русло. Не пропадет даром пролитая кровь ни в чем не повинных людей, голод и стра-

---

[1] Заварзин — начальник варшавской охранки. — Ред.

дания народных масс, плач детей и отчаяние матерей — жертвы, какие должен нести народ, чтобы преодолеть врага и чтобы победить.

Уже поздно. Я хочу хотя бы здесь вести правильную жизнь, чтобы не отдать им своих сил. А я чувствую, что у меня столько сил, что мне кажется — я все выдержу и вернусь. Но если даже я не вернусь, этот дневник дойдет, быть может, до моих друзей, и у них будет хоть частичка моего «я», и у них будет уверенность, что я был спокоен, что я звал их в момент тишины, печали и радостных дум...

2 мая

Вчера и сегодня мною овладело какое-то беспокойство, тревога... Отчего? Не знаю. Но мысли не могут сосредоточиться и бьются и мечутся, как лоскутья, гонимые ветром...

Сегодня опять был у меня полковник. Когда я его увидел, я весь задрожал, словно почувствовал противное, скользкое прикосновение змеи к своему телу. Он пришел с тем, чтобы любезно сообщить, что мое дело передано в военный суд и что обвинительный акт уже послан мне. Он выражал сожаление, что мое дело изъято из Судебной палаты, и уверял меня, что военные суды весьма часто выносят больше оправдательных приговоров и менее суровые приговоры, чем Судебная палата. Он расспрашивал, есть ли у меня книги, как здесь кормят, уверяя, что он устроил бы в тюрьме театр. А когда я вновь спросил его, не заговорила ли в нем когда-либо совесть, он с сочувствием и соболезнованием в голосе ответил, что я не в себе.

Во время этого непродолжительного разговора я чувствовал, что по мне как бы ползет змея, опоясывает меня и ищет, за что зацепиться, чтобы овладеть мною. Я не опасался, что не выдержу этого испытания. Я чувствовал только физическое отвращение и испытывал ощущение, обыкновенно предшествующее рвоте.

Ежедневно заковывают в кандалы по нескольку человек. Когда меня привели в камеру, в которой я уже когда-то, семь лет тому назад, сидел, первый звук, какой я услышал, был звон кандалов. Он сопровождает

каждое движение закованного. Холодное, бездушное железо на живом человеческом теле. Железо, вечно алчущее тепла и никогда не насыщающееся, всегда напоминающее неволю. Теперь в моем коридоре заковано большинство. Из тринадцати человек — семь. Когда их выводят на прогулку, вся тюремная тишина наполняется этим единственным скрежетом, проникающим в глубину души. И люди ходят, глядя на небо, на деревья, начинающие покрываться зелеными листьями, и не видят красоты, не слышат гимна жизни, не чувствуют теплоты солнца. Их заковывают с целью отнять у них все и оставить только этот похоронный звон. Не может же быть опасения, что люди убегут, еще никто отсюда не убегал, не вырывался из их рук: за каждым из заключенных неотступно шагает солдат с винтовкой, сопровождает жандарм, кругом жандармы, солдаты, решетки, крепостные окопы. Заковывают из жажды мести, из жажды крови и стремятся утолить эту жажду...

Сегодня я видел, как из кузницы вели уже закованного молодого парня. По его лицу видно было, что в нем все застыло, он пытался улыбнуться, но улыбка только искривила его лицо... Согнувшись, он держал в руках цепь, чтобы она не волочилась по земле, и с огромным усилием шел, чуть ли не бегом, за торопившимся жандармом, которому предстояло, повидимому, заковать еще несколько человек. Жандарм заметил, как мучается заключенный, на минуту остановился и, улыбаясь, сказал: «Эх, я забыл дать вам ремень!» (для поддерживания кандалов), — и повел его дальше.

7 мая

Сегодня у меня было свидание с защитником. Прошло три недели полного одиночества в четырех стенах. Результаты этого уже начали сказываться. Я не мог свободно говорить, хотя при нашем свидании никто не присутствовал...

Итак, дело будет слушаться в Судебной палате. Кто их поймет? Возможно, что полковник Иваненко хотел меня запугать или проверить, какое это на меня произведет впечатление, а вероятнее всего — он сказал

правду, сообщив о том, что уже было решено, но еще не дошло до Судебной палаты. А может быть, будут два разбирательства по одному и тому же делу — одно в палате, а другое в военном суде. Впрочем, это неважно, все же надо рассчитывать на несколько лет и вооружиться терпением.

Теперь я с утра до ночи читаю беллетристику. Она всего меня поглощает, читаю целые дни и после этого чтения хожу, как очумелый, словно я не бодрствовал, а спал и видел во сне разные эпохи, людей, природу, королей и нищих, вершины могущества и падения. И случается, что я с трудом отрываюсь от чтения, чтобы пообедать или поужинать, тороплюсь проглотить пищу и продолжаю гнаться за событиями, за судьбой людей, гнаться с такой же лихорадочностью, с какой еще недавно я гнался в водовороте моего маленького мирка мелких дел, вдохновленных великой идеей и большим энтузиазмом. И только по временам этот сон прерывается, возвращается кошмарная действительность.

Только что у какой-то женщины рядом было столкновение с жандармом, а затем она начала истерически кричать, звать на помощь, словно ее собирались зарезать или убить. Долго, ужасно долго и без перерыва раздавался этот крик. В нескольких камерах начался стук в двери и замолк. Жандарм в нашем коридоре испуганным и умоляющим голосом просил: «Не стучите, пожалуйста, ведь я никого не обругал и не обидел». Когда кто-то из заключенных потребовал, чтобы он вызвал заведующего, заявив, что он пожалуется ему на то, что там кого-то бьют, жандарм смиренно ответил: «Ладно, пожалуетесь». Солдат снаружи грозно требовал прекращения стука и громко звал разводящего. Мой сосед, семнадцатилетний гимназист, обвиняемый в нападении на почту возле Соколова и еще в четырех нападениях, постучал мне в стенку: «Что это? демонстрация?», а сидевший надо мной в это же время стучал: «Что эти варвары выделывают?»

Вскоре после этого все успокоилось, вновь воцарилась мертвая тишина, прерываемая лишь свистками паровозов.

По временам в ночной тиши, когда человек лежит,

но еще не спит, воображение подсказывает ему какие-то движения, звуки, подыскивает для них место снаружи, за забором, куда ведут заключенных, чтобы заковать их в цепи. В такие моменты я поднимаюсь, прислушиваюсь, и чем больше вслушиваюсь, тем отчетливее слышу, как тайком, с соблюдением строжайшей осторожности пилят, обтесывают доски. «Это готовят виселицу», — мелькает в голове. Я ложусь, натягиваю одеяло на голову... Это уже не помогает. Я все больше и больше укрепляюсь в убеждении, что сегодня кто-нибудь будет повешен. Он знает об этом. К нему приходят, набрасываются на него, вяжут, затыкают ему рот, чтобы не кричал. А может быть, он не сопротивляется, позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти... И ведут его и смотрят, как хватает его палач, смотрят на его предсмертные судороги и, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают его труп, как зарывают падаль.

Я наткнулся на несколько слов, написанных на стене одним из приговоренных: «Иосиф Куницкий, арестованный вместе с женой на улице в городе Вильно 6 июня 1907 года, приговоренный в Сувалках виленским военным судом к смертной казни за убийство шпиона и за принадлежность к боевой организации литовской социал-демократии, привезенный в Варшаву 19 февраля 1908 года для приведения приговора в исполнение. Пишу 3 марта 1908 года». Почти три месяца прошло с момента объявления ему приговора до того, как им были написаны эти строки, и все это время он, вероятно, проводил в одиночестве, терзаемый жаждой жизни.

Рядом со мной мальчик, о котором я уже упоминал, простучал мне, что он не трус, но что он не хочет погибнуть, погибнуть за деньги. Я чувствую по тому, как он стучит, что должно твориться в его душе. Хотя, вероятно, его оправдают...

Все сидящие рядом со мной попались из-за предательства.

Теперь мне сообщают, что один выдающийся деятель ППС сделался предателем и выдал множество людей в Варшаве, Сосновце, Люблине и других городах.

9 мая

Удивительно скоро проходят дни за чтением. Вечер, уже поздно, но спать не хочется, и я все больше оттягиваю момент сна. Я почти не чувствую, что двери на замке, не чувствую окружающего меня ужаса. Не думаю о будущем, не думаю о происходящем за стенами тюрьмы. Наступившая весна не влечет меня на широкий простор, я вижу эту просыпающуюся весну, зеленеющие деревья, траву, вдыхаю весенний воздух. Сегодня я слышал первый гром, а теперь вижу, как за окном идет радостный весенний дождик, слышу, как стучат дождевые капли в мое окно. Я устал... Но в глубинах души что-то накапливается, чтобы вспыхнуть, когда настанет для этого момент. Кто может предсказать, когда он наступит? Может быть, завтра, может быть, сегодня, а может быть, через год. Вспыхнет ли это пламя здесь, или тогда, когда я в действии и в жизни смогу стать творцом жизни?..

Вчера мне был вручен обвинительный акт. Член Судебной палаты любезно пояснил мне, что у меня три дня времени на указание нужных свидетелей, что дело будет слушаться не ранее августа в Судебной палате, что распоряжение не то сената, не то министра юстиции о передаче таких дел военному суду к моему делу еще не будет применено, что раньше августа они разобрать мое дело не смогут, так как им необходимо ехать в Седлец, Радом и т. д., а затем наступят каникулы. Поэтому-то приходится отложить дело до осени. Попутно он сообщил, что Судебная палата постановила заключить под стражу и меня и других товарищей, освобожденных под залог. Из этого следует, что один из нас будет сидеть до разбора дела 23 месяца, двое других по 20 месяцев.

Что касается меня, то в обвинительном акте нет ни малейшего доказательства моей вины, и меня должны были бы освободить, если бы можно было ждать приговора, зависящего не от произвола и настроения судей, а от юридических доказательств. Я, впрочем, совершенно не рассчитываю на освобождение. Возможно, состряпают еще новое дело против меня в военном суде, а если почему-либо не сделают этого теперь, то,

в случае оправдания меня Судебной палатой, мне будет предъявлено новое обвинение на основании тех бумаг, которые были у меня в последний раз найдены, хотя и они не могут служить доказательством моей принадлежности к партии.

10 мая

Уже два дня рядом со мной сидит восемнадцатилетняя работница, арестованная четыре месяца тому назад. Поет. Ей разрешают петь. Это у нее было столкновение с жандармом, после того ее перевели сюда. Молоденькая, напоминает ребенка. Мучается она страшно. Ей скучно. Стучит мне, чтобы я прислал ей веревку, что она повесится. При этом она добавляет, что веревка должна быть непременно от сахара, чтобы сладко было умирать. Она так нервно стучит и с таким нетерпением, что почти ничего нельзя понять, и, тем не менее, она все время зовет меня своим стуком: видимо, места себе найти не может. Недавно она мне вновь простучала: «Дайте совет, что делать, чтобы мне не было так тоскливо».

У нее постоянные столкновения с жандармами. Живая, как ребенок, она не в состоянии ни переносить, ни примириться с господствующим здесь режимом... В тот самый момент, когда я писал эти слова, у нее было опять небольшое столкновение. Она перестала петь, постучала жандарму и пошла в уборную. По пути она постучала в дверь моей камеры, а на обратном пути кашлянула и остановилась возле двери своей камеры и потребовала, чтобы жандарм открыл дверь, так как у нее болит рука (по слухам, во время одного из прежних столкновений она хватила жандарма кувшином, а он ранил ее в руку шашкой). По существующим здесь правилам и по установившемуся обычаю двери должен открывать заключенный, а не жандарм. Вызвано это опасением, что заключенный может напасть на жандарма, когда он наклонится, чтобы открыть дверь... Поэтому жандарм потребовал, чтобы она сама открыла дверь. «Все равно, — ответила она, — у меня рука болит, открыть двери я не могу и буду все время стоять здесь». Жандарм пригро-

зил ей, что он позвонит начальству, и тогда ей хуже будет.

«Мне все равно», — последовал ответ. Когда жандарм, повидимому, колеблясь принять решительные меры и желая ее напугать, направился к звонку, она подошла к камере на другой стороне коридора, в которой сидели какой-то молодой офицер и еще один заключенный, и начала с ними разговаривать. Взбешенный жандарм сердито открыл дверь, крича: «Ну, ты, иди, я тебе открыл!» После этого он долго ворчал и вполголоса крикнул: «Стерва!» Я бросился к двери, начал стучать и кричать: «Жандарм!» Он не откликался и подошел, когда я уже позвал его в третий раз. Я резко напустился на него. Он сначала заявил, что это не мое дело, а когда я сказал, что слышал, как он сказал «стерва», начал оправдываться, говоря, что он открыл бы двери, но она уже не один раз устраивала такие штуки, и когда жандармы нагибались, чтобы отодвинуть засов, она «заезжала им в морду».

Эта девушка — полуребенок, полусумасшедшая — устроит когда-нибудь большой скандал. Уже в этот раз все были сильно взволнованы ее плачем и возней с жандармом. Когда она заходит в уборную, она карабкается на окно и кричит гуляющим товарищам: «Добрый день!», а когда в связи с этим входит в уборную жандарм, она устраивает скандал.

1 мая во время прогулки она кричала: «Да здравствует революция!», произносила другие революционные возгласы и пела «Красное знамя». Все были взволнованы и колебались, петь ли, поддержать ли ее? Никто не желал показаться трусом, но для того, чтобы петь, каждый должен был насиловать себя: такая бесцельная, неизвестно для чего затеянная демонстрация не могла вызвать сочувствия. Тюрьма молчала.

Вечером кто-то сверху простучал: «Сегодня вечером будем демонстрировать пением». Но самый этот стук был очень осторожным, часто прерывался из опасения, чтобы жандарм не заметил. И пения не было.

По временам эта девушка вызывает гнев. Ее смех, пение, столкновения с жандармами вносят в нашу жизнь нечто постороннее, чуждое, а вместе с тем доро-

гое, желанное... но не здесь. Чего хочет эта девушка, почему нарушает покой? Невольно сердишься. Но начинаешь рассуждать: «Ее ли вина, что ее, еще ребенка, заперли здесь, когда ей следовало еще оставаться под опекой матери, когда ей еще впору играть, как играют дети». А может быть, у нее нет матери и она вынуждена бороться за кусок хлеба... Работница же она. Этот ужасный строй заставил ее принять деятельное участие в революции. А теперь мстят ей за это. А сколько таких, с детства обреченных на жалкое, нечеловеческое существование? Сколько таких людей, чувства которых извращены, которые обречены на то, чтобы никогда, даже во сне, не увидеть подлинного счастья и радости жизни! А в природе человека есть ведь способность чувствовать и воспринимать счастье. Горсть людей лишила этой способности миллионы, исковеркав и развратив самое себя, — остались только ужас и безумие для одних, роскошь и удовольствия для других. Не стоило бы жить, если бы человечество не озарялось звездой социализма, звездой будущего. Ибо «я» не может жить, если оно не включает в себя всего остального мира и людей.

13 мая

Час тому назад бушевала гроза. Все содрогалось от грома, и наш жалкий павильон весь дрожал. Ярко блиставшие молнии прорывали мрак, их розовые отблески проникали в мою камеру; дождь лил как из ведра, а ветер качал дерево за окном, ударялся в стены, стучал и выл. Теперь тихо, равнодушно глядит затуманенная луна, не слышно ни шагов часового, ни жандарма, ни пения соседки, ни бряцания кандалов. Только дождевая капля время от времени падает на карниз моего окна и издали доносятся свистки паровоза. Грусть какая-то проникает в душу. Но это не грусть узника. И на воле иногда такая грусть незаметно овладевала мною — грусть существования, тоска по чему-то неуловимому, но вместе с тем необходимому для жизни, как воздух, как любовь.

Сегодня заковали двоих. Их вели из кузницы мимо наших окон. Моя соседка Ганка приветствовала каж-

дого из них возгласом: «Да здравствует революция!» Ободренные, они ответили тем же. Должно быть, их приговорили сегодня, возможно, что к виселице. Когда я шел на прогулку, я заметил в одном из коридоров — в коридоре смертников — какое-то движение. Я не раз проходил по этому коридору, когда меня вели в канцелярию, и, хотя я не знал его назначения, чувствовал как бы дуновение смерти. Это не темный коридор, он светлее других: три больших окна. В этом коридоре всего шесть камер, от 45-го до 50-го номера включительно; двери камер как будто такие же, как у нас, — желтые, с ржавыми пятнами, — но все же другие. На двери одной из камер я заметил совершенно проржавленный замок, в другой камере большая, забитая досками дыра, словно там велась смертельная борьба с сопротивлявшимся в отчаянии приговоренным.

Два дня назад, как мне сообщили, у моей соседки были губернатор, начальник охранки и начальник жандармерии. Они угрожали, что ее и ее брата ждет виселица и она может спасти себя лишь тем, что выдаст людей и склад оружия; говорили, что другие ее предали и что только предательство может ее спасти.

На-днях я наткнулся на такую надпись: «Теодор Яблонский, приговоренный к смерти. Камера № 48 (для смертников). Уже был врач. Сегодня состоится казнь. Прощай, жизнь! Прощайте, товарищи! Да здравствует революция!» А рядом с этим другой рукой написано: «Заменили веревку 10-ю годами каторги. Теперь у него другое дело: об убийстве провокатора в Плоцкой тюрьме. Сегодня IV.08».

14 мая

Коридор смертников не пустует. Несколько минут тому назад, во время прогулки, я увидел в окне камеры № 50 бледного молодого мужчину, кажется, рабочего. Форточки в окне этой камеры закрыты. Несколько раз он подходил к окну и прислонялся к граненым стеклам, сквозь которые, кроме расплывчатого туманного света и теней, ничего не видно. Только два верхних стекла — прозрачные, открывающиеся. Сквозь эти стекла можно увидеть небо, затемненное густой проволочной сеткой,

настолько густой, что спички не проткнешь. Для того чтобы сквозь эти стекла увидеть, что происходит во дворе, приходится взбираться на стол или на спинку железной кровати. А жандарм наблюдает, часто заглядывает в дверь через «глазок», и потому можно только на одно мгновение прыгнуть на окно и бросить взгляд наружу. Заключенный в камере № 50 сидит один, у него даже нет соседей. Эта камера совершенно изолирована, и живущий в ней не может развлечься даже перестукиванием. Он лишен возможности на чем-нибудь остановить взор, чтобы утихомирить клокочущую в нем бурю. Грязный каменный пол, грязная дверь, выкрашенные в желтый цвет стол и оконная рама, серые, запыленные, в синих и белых пятнах стены, потолок, как крышка гроба, предательский «глазок» в двери и мертвый рассеянный серебристый свет дневной жизни. А там, за дверью, по коридору приближается, крадучись, жандарм, поднимает крышку «глазка», смотрит, наблюдает, чтобы жертва не ускользнула и сама не покончила с собой.

14 мая вечером

Сегодня моя соседка Ганка простучала мне следующее: «Меня посадили вместе с некоей Овчарек. Я просидела с ней две недели. Она рассказала мне, что к ней приходит на свидание адвокат П. Я доверчиво сообщила ей адрес квартиры моей матери и просила ее, чтобы он зашел к ней и сказал, чтобы она уезжала. Овчарек согласилась — и все выдала шпику. Вдруг ее вызывают в канцелярию. К ней из охранки приехал шпик, и она все выдала. Возвратившись из канцелярии, она принесла передачу, всякую еду и даже икру, — все это будто прислала мне партия. Я тогда была больна после перенесенных побоев. Представьте себе только, мать после операции третью неделю лежит в кровати... Вдруг приходит полиция, передает ей (сказанное мною Овчарек), чтобы она уехала. Ее забрали в охранку, оттуда в «Павиак» [1]. Она была так потря-

[1] «Павиак» — следственная тюрьма в Варшаве. — Ред.

сена что не прошло и трех недель, как умерла там. Отец тоже сидит. Два месяца тому назад его приговорили к 20 годам каторги. Я и брат тоже сидим. Сидит вся семья. Теперь посадили меня с другой заключенной, С. Когда ее привели ко мне в камеру, она, подлюга, целует меня и говорит: «Как хорошо, господин начальник, что вы сажаете меня со знакомой». А я, поверьте, совершенно ее не знаю, вижу в первый раз в жизни. Я подняла скандал и отказалась вместе с ней сидеть. Вчера был у меня шпик из охранки и сказал, что эта С. сообщила им, будто я главная поставщица оружия из-за границы, руковожу боевым отрядом в Варшаве и будто мой брат — рядовой, известный под кличкой «Искорка». Она наплела много такого, о чем я не имею ни малейшего представления».

Женщин здесь много. Я вижу их на прогулке, слышу их голоса и из других коридоров. Они часто спорят с жандармами, хохочут и громко разговаривают. Им здесь хуже, чем нам, хотя жандармы с ними, кажется, ведут себя сдержаннее и не запрещают им заслонять «глазок». Эта сдержанность вызвана не человеколюбием. Они просто боятся скандалов.

Из девяти женщин, которые гуляют в той части садика, на которую выходит мое окно, только три ведут себя спокойно. Две молодые ходят, всегда держась за руки. Они — польки. Третья, тоже молодая, серьезная и выдержанная, — еврейка. Остальные неестественно хихикают, шумят, разговаривают с Ганкой, которая никак не может подчиниться режиму. Сегодня опять по этому поводу была неприятная сценка. Ганка взобралась на стол, разговаривала, или, вернее, выкрикивала отдельные слова двум гуляющим женщинам. Они отвечали ей, и сами что-то рассказывали. Жандарм раза два предупредил их, чтобы прекратили эти разговоры, но они не обращали на него внимания. Взбешенный, он подбежал к окну Ганки, обнажил шашку и начал ругаться. И это не помогло. Я простучал Ганке, что сержусь на нее за то, что она из-за пустяков подвергает себя оскорблениям. Она ответила, что больше не будет, но час спустя уже забыла об этом обещании. Это понятно: она еще ребенок, не может жить в камере без

каких бы то ни было впечатлений, когда и взрослые, уже не раз пережившие одиночное заключение, порой теряют равновесие.

То ли сегодня утром, то ли вчера вечером привели огромную партию заключенных. Я видел, как они вместе гуляли два раза по 10 человек, а затем по семь и шесть человек. Должно быть, их дело будет разбираться в военном суде... Некоторые из них в кандалах, изможденные, плохо одетые, кое-кто в зимних шапках. Они шли группами, тихо разговаривая друг с другом; некоторые, хмурые, шли одни. Рабочие, железнодорожник, солдат, несколько, кажется, крестьян, несколько человек, судя по лицам, не то рабочих, не то интеллигентов. Издали сквозь сетку трудно определить.

16 мая

Весна в полном разгаре. Все плодовые деревья покрыты белыми цветами и зелеными листьями. День становится длиннее, в воздухе чувствуется уже лето, на солнце в саду жарко, а в камере все более и более душно.

Ганка ужасно страдает, не поет, присмирела. Она узнала, что вчера ее брат приговорен к смерти. Вечером она мне простучала: «Сегодня, может быть, его повесят, разрешат ли мне попрощаться с ним? Я остаюсь одна. А может быть, они выполнят свою угрозу и меня тоже повесят. А он такой молодой. Ему всего 21 год». Что мне было сказать ей на это?

Не то неделю, не то дней десять надо мной уже сидит кто-то другой. Не знаю кто. Не стучит, не откликается. Вскоре после того, как его поместили, не знаю почему, но мне показалось, что это В.[1], и с каждым днем я все больше и больше убеждался в этом. Я звал его стуком, называл его по имени, но он не откликнулся. Я бросал сапог в потолок, но и это не действовало. Он почти совершенно не двигается. В течение нескольких дней я даже не мог читать, так как все подкараули-

---

[1] Ф. Э. имел в виду члена социал-демократии Польши и Литвы рабочего Варденя, который впоследствии был приговорен к шести годам каторги и умер в тюрьме. — Ред.

вал, когда он выйдет на прогулку. Но он не выходит из камеры, и я не мог увидеть и убедиться, он ли это. Сегодня там что-то произошло. Он постучал в дверь... Я слышал после этого знакомый скрежет открываемого замка и стук отодвигаемого засова. Несколько секунд тишины, а затем снова скрежет при запирании камеры. После этого он начал стучать ровно, спокойно, с короткими перерывами. Дважды открывались и закрывались двери — и опять стук, сначала руками, затем ногами, кружкой. Продолжалось это чуть ли не целый час. Я не знал, да и до сих пор не знаю, что там произошло. После этого кто-то заходил к нему два раза, и все кончилось. Снова все надо мной утихомирилось, воцарилась тишина, словно там никого не было.

Так живет каждая камера. Только по временам одна из камер вдруг оживает, и тогда все обитатели этих молчаливых камер срываются с мест, настороженно слушают, не последует ли возня, не пора ли и им нарушить тишину. После этого они продолжительное время не могут прийти в себя. В такие моменты каждый чувствует, где он и чем он здесь является. Предположение, что в камере надо мной сидит В., по всей вероятности, проявление болезненной мнительности, от которой я не в состоянии отделаться. Эта болезнь вообще свойственна жителям тюрем.

21 мая

Вечером, когда я при свете лампы сидел над книгой, я услышал снаружи тяжелые шаги солдата. Он подошел к моему окну и прильнул лицом к стеклу. Он не побоялся. Из любопытства или, быть может, просто поинтересовался.

— Ничего, брат, не видно! — сказал я дружелюбно.

Он не ушел.

— Да! — послышалось в ответ. Он вздохнул и секунду спустя спросил: — Скучно вам? Заперли (последовало известное русское ругательство) и держат!

Кто-то показался во дворе. Он ушел.

Эти несколько грубых, но сочувственных слов вызвали во мне целую волну чувств и мыслей. В этом проклятом здании, от тех, чей самый вид раздражает,

нервирует и вызывает ненависть, услышать слова, напоминающие великую идею, ее жизненность, и нашу, узников, связь с теми, кого в настоящее время заставляют убивать нас! Какую колоссальную работу проделала уже революция! Она разлилась повсюду, разбудила умы и сердца, вдохнула в них надежду и указала цель. Этого никакая сила не в состоянии вырвать! И если в настоящее время, видя, как ширится зло, с каким цинизмом из-за жалкой наживы люди убивают людей, мы приходим иной раз в отчаяние, то это ужаснейшее заблуждение. Японская война выявила полную дезорганизацию и развал русской армии, а революция только обнажила зло, разъедающее общество. И это зло должно было обнаружиться, для того чтобы погибнуть. И это будет! Для того чтобы ускорить этот момент, необходимо вселить в массы нашу уверенность в неизбежном банкротстве зла, чтобы ими не овладело сомнение, чтобы они пережили этот момент в стройных, готовых к борьбе рядах. Это задача теоретиков. А задача других — обнажить и выявить это зло, обнажить страдания и муки масс и отдельных вырванных врагом из их среды борцов, придать им то значение, какое они имеют в действительности и которое дает им силу все перенести мужественно, без колебаний. Только этим путем можно вдохнуть в массы мужество и моральное сознание необходимости борьбы. Нужны как те, кто воздействует на умы, так и те, кто вливает в душу и сердце уверенность в победе. Нужны ученые и поэты, учителя и агитаторы. Я вспоминаю, какое огромное влияние производила изданная партией «Пролетариат»[1] книжка «С поля борьбы», описывающая страдания людей, их выдержку и мужество в борьбе. Как я желал бы, чтобы и теперь появилась такая книжка! Теперь труднее собрать и сопоставить факты, настолько они значительны и так их много. Но и сил теперь больше. Если бы кто-нибудь взялся за такую работу или хотя бы только за руководство такой

[1] **«Пролетариат»** — первая революционная рабочая партия в Польше в первой половине восьмидесятых годов XIX века. — Ред.

работой, то через год, через два такая книга могла бы появиться. В ней были бы отражены не только наши страдания и наше учение, но и та жажда полноты настоящей жизни, ради которой человек не пожалеет никаких страданий, никаких жертв.

Несколько слов, сказанных солдатом, разожгли мой мозг. Здесь много этих солдат-служителей и жандармов-ключников. Но мы лишены возможности добраться до их сердца и мысли. Всякий разговор с ними воспрещен. Да и в разговоре не за что зацепиться. С жандармами мы встречаемся как враги, солдат мы только видим. В коридоре три жандарма сменяются ежедневно каждые четыре часа. Каждый жандарм попадает в один и тот же коридор раз в 10—15 дней. При таких условиях трудно узнать, кто из них проще и доступнее [1]. Независимо от этого, у них много работы: то они водят нас по одному в уборную, то на прогулку, то на свидание, то открывают дверь, когда солдат-служитель вносит обед, подметает камеру, приносит чай, хлеб, ужин, уносит лампу. После этого жандармы, водящие нас на прогулку, направляются на другую службу. Они часто грубы, злы, видят в нас врагов, пытаются сократить время прогулки и досадить нам. Впрочем, таких, которые досаждают нам по собственной инициативе, немного. Они часто заглядывают через «глазок», заставляют долго ждать открытия дверей, когда им стучат. Остальные просто устали; чувствуется, что они боятся начальства и тяготятся строгой дисциплиной. Мне известны случаи даже сочувствия с их стороны. Однажды я попросил одного из них, чтобы мне переменили книги. Он тотчас же обратился к другому, тогда не занятому жандарму, проходившему мимо моей камеры, и сказал: «Обязательно скажи в канцелярии». В другой раз во время прогулки мне показалось, что жандарм собирается

[1] Среди жандармов-ключников были рядовые из крестьян, находившиеся на этой службе не по собственному желанию, а взятые по призыву на военную службу и направленные в жандармерию. Некоторых из них Ф. Э. Дзержинскому удалось сагитировать; они-то и выносили из X павильона и передавали по указанному адресу странички настоящего дневника. — Ред.

прекратить прогулку и повести меня обратно в камеру; когда я обратил его внимание на то, что осталась еще одна минута (часы висят на заборе в стеклянном шкафу), он возмутился тем, что я мог его заподозрить в желании отнять у меня минуту прогулки. Это было им сказано таким дружелюбным тоном, что, сконфузившись, я ответил: «Всякие бывают среди вас».

Весьма трудно в этом «мертвом доме» вступить в беседу с жандармом. В высшей степени характерно, что, когда случайно встречается заключенный с заключенным, они не в состоянии заговорить друг с другом. Однажды жандарм забыл, что в уборной уже находится один заключенный, и привел другого... Когда последний увидел это, он сразу повернул обратно в свою камеру. Этот заключенный сидел в камере напротив моей, и я услышал, как он сказал жандарму: «Там уж есть кто-то». В другой раз я встретил заключенного офицера. Заметив его, я крикнул: «Здравствуйте, товарищ!», а он с недоумением посмотрел на меня.

Здесь теряется умение вести разговор. Жандармы разговаривают в коридоре друг с другом и со служителями исключительно шопотом. Когда заходит в камеру кто-нибудь из начальства, жандарм закрывает двери, чтобы другие заключенные не слышали разговора, даже голоса. Жандарм не имеет права разговаривать с заключенным и войти к нему в камеру; за солдатом-служителем наблюдает жандарм-ключник, чтобы он ни единым словом не обменялся с заключенным. Если мне что-либо нужно от служителя, я должен обратиться за этим не к нему, а к жандарму. В коридоре постланы мягкие дорожки, так что шагов не слышно. Из коридора проникает иной раз в камеру только шопот жандарма, скрежет задвижки и треск замка.

Малейший звук извне, пробивающийся в окно из крепости, только усиливает эту могильную таинственную тишину. Тишина давит каждого и подчиняет себе и нас и жандармов. Однажды я сделал замечание жандарму, что ему не следует будить меня на прогулку, как он это сделал в этот день утром, добавив при этом, что я когда-нибудь устрою по этому поводу скандал.

Я был спокоен, но даже при этом небольшом заявлении я чувствовал какую-то дрожь. Жандарм, как я заметил, тоже не мог свободно объясниться. Когда же кто-нибудь из нас, преодолев себя, свободно скажет несколько слов жандарму или иной раз запоет или искренне захохочет, — точно блеснет луч света. Это чувствуют и жандармы.

Говоря об этой гробовой тишине, надо упомянуть, что в моем коридоре уже нет закованных, а в моем садике ходит на прогулку только один закованный (с одной части приведенных на суд из провинции кандалы сняли, другую часть закованных увезли). Когда нет кандального звона, эта тишина уже не врезается так болезненно в мозг, но на душу она все же сильно действует.

Извне проникают к нам отголоски жизни: днем — постоянный шум, в котором трудно различить отдельные звуки, — это дыхание жизни, солнца, дождя, города, извозчиков, солдатского марша. В этот шум жизни по временам вплетается свободный голос детей, грубый громкий смех, шутки, ругань и голоса жандармов и солдат; в другой раз гремящая военная музыка, пение солдат, орущих во все горло, а еще в иной раз один и тот же тягучий звук гармошки. По временам, в праздники, слышно какое-то хриплое пение под аккомпанемент гармошки. По ночам доносятся свистки паровозов, шум мчащихся поездов. А когда тихий ветер шевелит листья, кажется, что это мягкий шелест леса или журчание ручья. Но все эти звуки лишь усиливают внутреннюю тишину и часто вызывают раздражение и даже бешенство, постоянно напоминая, что ты не умер, что звуки эти проникают сквозь решетку в окно, через которое живой внешний мир имеет вид расплывчатого светлого пятна — не больше... И все же, если бы совершенно не было этих слуховых впечатлений, то было бы, пожалуй, еще хуже.

22 мая

Сегодня в верхнем коридоре, но не надо мной непосредственно, опять был скандал. На этот раз какой-то заключенный уже не просто стучал, а лупил в дверь

табуреткой, громко крича: «Не имеете права!..» Не знаю, что там случилось. Продолжалось все это минут десять, а затем вновь водворилась мертвая тишина.

23 мая

Сегодня у меня впервые было свидание. Пришла жена брата с маленькой Вандой. Девочка играла проволочной сеткой [1], показывала мячик и звала: «Иди, дядя!» Я очень рад, что их видел. Я их очень люблю. Они мне принесли цветы, которые теперь красуются на моем столе. Жена брата радовалась, что у меня хороший вид, и я уверял ее, что мне здесь хорошо и весело. Я сказал ей, что, вероятно, меня ожидает каторга.

Сегодня я дважды ходил в канцелярию (был защитник и свидание) и всякий раз проходил по коридору смертников. Там приговоренные. Повидимому, их два человека, так как служитель шел с двумя обедами. Я уверен, что это приговоренные к смерти, так как в коридоре, кроме жандарма, дежурит солдат с ружьем.

А оттуда, с воли, дорогие мне люди шлют мне приветствия и, несмотря на ярмо жизни, смело двигаются вперед и делают свое дело. Я вижу их... Много их, очень много. Одни в том же положении, что и я, другие еще живут, а еще иные — далеко [2], но все же и мыслью, и сердцем, и делом они здесь. Я вижу и тех, дорогих сердцу, которые озаряют жизнь счастьем, наполняют ее энергией и выдержкой.

28 мая

Вот уже неделя, как у Ганки ежедневно кровотечение горлом. Сегодня у нее был врач, нашел ее в плохом состоянии, предложил ей перейти в больницу. Она отказалась. А когда я убеждал ее согласиться, указы-

---

[1] Свидание происходило в присутствии жандармского вахмистра. Посетителей отделяли от заключенного две густые сетки, расположенные на значительном расстоянии одна от другой. — Ред.

[2] Очевидно, в ссылке. — Ред.

вая, что там ей будет лучше, она ответила, что там ей грозит одиночество и что потом, когда она вернется, ее место будет занято другим. И не пошла.

В этом коридоре только две наши камеры рядом и такие же две над нами. Там кто-то сидит, но не стучит. Над камерой Ганки сидят двое, и они, как назло, сегодня весь день бегали у нее над головой в своих тяжелых сапогах. Она кричала им в окно, чтобы они не бегали, что каждый их шаг очень больно отражается в голове, но они, повидимому, не слышали и продолжали бегать. Солдат сердился на нее за этот крик и спрашивал жандарма, отчего она кричит, а она плакала, сознавая свое бессилие. Только к вечеру они перестали бегать. Повидимому, дежурный жандарм сказал, чтобы они не бегали.

31 мая

Повидимому, вчера и сегодня разбиралось дело о нападении на почту вблизи Соколова. Мужчины — пятнадцать человек — и одна женщина приговорены к смерти, две женщины — к 15 годам каторги, две оправданы.

Ганке вчера был вручен обвинительный акт. Она обвиняется в восьми покушениях, в руководстве боевой дружиной, в роговском нападении, в покушении на Скалона[1] и т. п. Говорят, что ее ждет виселица. Скалон сказал, что не отменит смертного приговора: «Она и так слишком долго живет».

Ученик из Седлеца, сидевший рядом со мной, тоже приговорен вместе с ними, заодно с ними приговорен также предатель Вольгемут.

3 июня

Вчера опять восемь человек было приговорено к смерти.

4 июня

Вчера казнены приговоренные за нападение в окрестностях Соколова. Заключенный, сидевший вместе

[1] Скалон — варшавский генерал-губернатор. — Ред.

с одним из приговоренных, не обращая внимания на жандарма, крикнул во время прогулки Ганке: «Уже казнен!» Сегодня на прогулке мы видели только одного из приговоренных к смерти — ученика из Седлеца, сидевшего раньше рядом со мной. Он сообщил, что его вернули уже с места казни.

Завтра будет суд над 51 человеком по делу об убийстве ротмистра в Радоме.

Жандармы в садике под нашими окнами по вечерам шумно развлекаются, перекликаются, кричат, смеются, бьют в ладоши. Сегодня, наряду с аплодисментами и хохотом, слышны крики: «Бис! бис!» А затем они направляются в коридоры на смену другим, подсматривают в «глазок», наблюдают, чтобы заключенные не перестукивались, после каждого посещения заключенными уборной тщательно разыскивают там их письма, а ночью ведут приговоренных на место казни.

5 июня

Полчаса тому назад (теперь уже, должно быть, около 11 часов вечера) привели из суда в наш коридор двоих радомчан. Оба приговорены к смертной казни. Когда Ганка крикнула им из камеры: «Скоро увидимся! До свидания!», они спокойно ответили: «Держимся, не унываем!» Жандарм шопотом останавливал их: «Будет, будет!» Час тому назад наверху, в боковом коридоре, одна из заключенных, громко ругая жандарма, в течение получаса со страшным бешенством колотила чем-то твердым по двери; сидевший рядом с ней стучал кулаком. После этого все стихло; неизвестно, что это было.

Если бы нашелся кто-нибудь, кто описал бы весь ужас этого мертвого дома, борьбы, падений и подъема духа тех, кто замурован здесь, чтобы подвергнуться казни, кто воспроизвел бы то, что творится в душе находящихся в заключении героев, а равно и подлых и обыкновенных людишек, что творится в душе приговоренных, которых ведут к месту казни, — тогда жизнь этого дома и его обитателей стала бы величайшим оружием и ярко светящим факелом в дальнейшей борьбе. Поэтому необходимо собирать и сообщать людям

не простую хронику приговоренных и жертв, а давать картину их жизни, душевного состояния, благородных порывов и подлой низости, великих страданий и радости, несмотря на мучения; воссоздать правду, всю правду, заразительную, когда она прекрасна и могущественна, вызывающую презрение и отвращение к жертве, когда она сломлена и опустилась до подлости. Это под силу только тому, кто сам много страдал и много любил...

6 июня

Сегодня у меня было свидание, и мне передали приветы с воли, прелестные цветы, фрукты. и шоколад. Я видел Стасю и Вандзю [1]. Я стоял на свидании, словно в забытьи, и не мог ни овладеть собой, ни сосредоточиться. Я слышал лишь слова: «Какой у тебя хороший вид», — и то, что я говорил: «Здесь ужасно». И помню, что я просил прислать мне какие-то книги и совершенно ненужное мне белье... После этого я вернулся в камеру и чувствовал себя более чем странно: никакой боли, никакой жалобы, нудное какое-то состояние, какое бывает перед рвотой... А прелестные цветы как будто что-то говорили мне... Я чувствовал это, но не понимал.

Потом кто-то вернулся из суда, и из коридора до меня донесся его спокойный и твердый голос: «Виселица», — и охрипший возглас жандарма: «Нельзя говорить!» Утром, когда я был на прогулке, солдаты выносили из камеры смертников целые возы соломы. Повидимому, казнено столько народу, что в камерах смертников не хватило тюфяков и кроватей. Теперь же подготовляется помещение для приговоренных вчера восьми радомчан.

Где-то наверху плачет недавно родившийся здесь младенец.

12 июня

Всем радомчанам смертная казнь заменена катор-

---

[1] Станислава и Вандзя — жена брата Ф. Э., Игнатия, и племянница. — Ред.

гой. Меня уверяли, что заменят и Ганке. Несколько дней тому назад к ней в камеру перевели другую женщину. С этих пор хохот и пение в течение целого дня без перерыва разносятся по всему коридору. Она сердится, что я почти не стучу к ней. А для меня она начинает становиться чужой. И я сознаю, что если бы я близко узнал ее, если бы она не была для меня «абстракцией», то на нее повеяло бы от меня холодом.

Всю эту неделю, несмотря на свидание и книги, я чувствую себя как-то странно. Как будто я нахожусь у предела жизни и все уже оставил позади...

28 июня

Я давно не писал. Ганку перевели. Она сидит теперь напротив моей камеры. 18-го, в четверг, слушалось ее дело о покушении на Скалона. В течение двух дней она была уверена, что ее повесят. Защитник обещал зайти, если казнь будет заменена, и не пришел. И все же ей заменили казнь бессрочной каторгой. Теперь, два дня назад, зашел к ней защитник и сказал, что Скалон заменил виселицу каторгой только потому, что ему неловко было утверждать смертный приговор, поскольку дело касалось его самого, но что по другому делу приговор он утвердит. Завтра, кажется, будет слушаться дело о бомбах в Марках. Кроме этого дела, за ней числится еще шесть дел.

Рядом со мной уже два дня сидит товарищ из Кельц. В четверг слушалось его дело, — приговорен к смерти, замененной 15 годами каторги; через две недели будет слушаться другое его дело — об убийстве двух стражников. До него несколько дней сидел товарищ из Люблина. Ему сообщили, что его узнал провокатор Эдмунд Тарантович и что он обвиняет его в убийстве почтальона и пяти солдат. Виселица верная. Говорят, что этот провокатор выдал целую организацию ППС и настолько занят разоблачениями и показаниями, что следователям приходится ждать очереди, чтобы его допросить. У радомчан было за это время еще два дела, два раза их приговаривали к смерти и оба раза заменили каторгой.

2 июля

29 июня перевели от нас Ганку. Я ее вижу лишь украдкой, через форточку, когда она гуляет. Дело ее слушалось 30-го. Кажется, приговорена к смерти, судя по тому, что она проводила рукой по шее. Ее убрали из этого коридора, а несколько человек посадили на три дня в темный карцер за подачу прокурору заявления, написанного в резком тоне, с жалобой на жандармов за плохое обращение с женщинами. Одних бросили в карцер, других расселили по камерам, чтобы они впредь не могли сноситься друг с другом.

Рядом со мною уже никого нет. Кельчанин сидит теперь в другой камере. Ему всего 21 год, а за ним 17 дел. Когда к нему являются для прочтения обвинительного акта, он отказывается слушать, заявляя, что ему надоело и что он и без чтения может отправиться на тот свет. Он сожалеет лишь о том, что ему не дадут жить еще 20 лет, и спрашивает, сколько у него было бы судебных дел к 40 годам. Снова появилось много людей в кандалах. Я их слышу и вижу только тогда, когда они выходят на прогулку. Несколько человек — почти дети, без растительности на лице, бледные, на вид им не больше 15—16 лет. Один из них еле двигается. Повидимому, у него искалечены ноги. Во время гуляния он постоянно сидит на скамейке. Другой не подтягивает цепей ремнем, и они волочатся за ним. Остальные, наоборот, ходят гордо в кандалах, побрякивая ими, ступают бодро, выпрямившись.

На-днях у меня было небольшое развлечение: я был в уборной, жандарм забыл об этом и привел товарища из Радома. Мы оба были поражены. Он уже получил три смертных приговора, замененных 20 годами каторги, ожидает еще двух приговоров по 15 лет каторги за участие в подкопе под тюрьмой и за принадлежность к Левице ППС[1]. Все эти приговоры

---

[1] Левица ППС образовалась в 1906 году в результате раскола ППС. В период империалистической войны 1914—1918 годов между марксистской польской социал-демократией и ППС Левицей произошло сближение. В 1918 году они объединились и образовали Коммунистическую партию Польши. — Ред.

вынесены ему, несмотря на то, что он не принимал ни малейшего участия в приписываемом ему убийстве жандармского ротмистра и других. К тому времени он уже совершенно отстал от движения. Второй, сидящий в одной камере с ним, тоже приговоренный к смерти подлинный «левицовец», принципиальный противник индивидуального террора.

3 июля

Сегодня после обеда в моей камере открыли всё окно. Теперь я смогу ежедневно на целый час открывать окно от 4 до 5 часов (во время прогулки не разрешают открывать окон, выходящих во двор). Я уже могу видеть зелень, большой кусок неба, вдыхать свежий воздух. Я долго стоял возле окна, опираясь на решетку. Свежий воздух меня опьянил, и мне стало грустно. Здесь, в самой Варшаве, держат меня в тюрьме, здесь их крепость, и от нее исходит их господство. Какой-то солдат-калмык с винтовкой караулит меня и зорко присматривает за мной. Где-то недалеко свистит паровоз, поезд мчится, едут в нем свободные люди... Их много, очень много, а нас здесь только горсточка. И вновь бодрость во мне оживает, хотя одному мне грустно здесь в камере, в этом доме.

6 июля

В мой коридор вновь привели троих, в том числе анархиста Ватерлоса, закованного в кандалы. Он уже приговорен к 15 годам каторги, а за ним числится еще одно дело. Иностранец, если судить по произношению и по фамилии, он сидел три дня в карцере за подачу жалобы прокурору. С ним сидит какой-то еврей из Островца, обвиняемый в том, что во время арестов рабочих он бросил бомбу в здание фабрики. Рядом со мною сидит женщина. Не знаю, кто она такая, так как она посажена в эту камеру только сегодня и перестукивается очень плохо. Кроме них — двое из Радома, офицер Белокопытов из Замброва Ломжинской губернии, молоденький, розовенький, как девушка, артиллерист, обвиняемый в том, что не донес на своего товарища, который якобы принадлежит к Все-

российскому офицерскому союзу. Вместе с ним сидит с 1 ноября 1907 года один рабочий, обвиняемый в принадлежности к боевой организации ППС (оговаривает его какой-то «Штубак»). Потом еще двое рабочих, о которых мне ничего неизвестно, и, наконец, предатель Вольгемут, как говорят, отправивший на виселицу уже до 30 человек...

7 июля

Сегодня ужасный день. Утром кто-то в боковом коридоре с остервенением стучал и кричал на жандарма, но это продолжалось недолго. Вскоре после этого начал стучать и звал начальника Ватерлос. Ему говорили, что начальник скоро придет, но тот не приходил в течение целого дня. И Ватерлос стучал с перерывами целый день. Наконец в 9 часов вечера он вышел в коридор и заявил, что будет ждать здесь. Сбежалось множество жандармов и солдат; они просили его, грозили, требовали, чтобы он пошел обратно в камеру. Он ответил, что не пойдет. Кончилось тем, что его схватили и втолкнули в камеру, а он поднял крик: «Товарищи!» Во всех камерах заключенные начали колотить в двери. Ватерлос тоже начал стучать. Только тогда явился начальник. Они разговаривали тихо, по-немецки. Я уловил только, что он требовал, чтобы от него взяли товарища, с которым он сидел (до карцера он сидел с доктором Заксом, который тоже был в карцере, а теперь сидит один) и чтобы наказали солдат за совершенное над ним насилие.

Один из радомчан сидит в карцере за подачу жалобы. Его взяли обманным путем, сказав, что ведут в канцелярию. Ватерлос отказался добровольно итти в карцер и лег на кровать; говорят, его понесли в карцер на кровати.

9 июля

Забрали отсюда двоих радомчан и еврея из Островца. Одна камера пуста. Сюда перевели двоих новых, в том числе одного из радомчан. Ватерлос второй раз, по выходе из карцера, написал жалобу прокурору, а прокурор снова велел за оскорбление посадить

его в карцер на семь дней. Его еще не посадили: повидимому, свободных карцеров нет.

Надо мной сидит женщина. Я уже узнал, что ее зовут Анеля Грицендлер. Она была приговорена к ссылке на поселение и освобождена под залог в 2 тысячи рублей. Потом ее опять арестовали. В Петрокове она голодала 23 дня. Там, говорят, кошмарные условия для женщин.

23 июля

Вчера заковали 14 человек; один из них по дороге в кузницу, горько улыбаясь, сказал: «Последние свободные шаги». Сегодня сняли кандалы пятерым. Кажется, это привезенные на суд из провинции. Моя соседка ужасно несчастна, хотя утверждает, что чувствует себя хорошо и по целым дням поет. Отец ее казнен, мать умерла в тюрьме, один брат в Седлецкой тюрьме, другой в 4-м крепостном форте, и только один четырнадцатилетний брат освобожден из тюрьмы. С ней вместе сидит дворничиха, обвиняемая в участии в подкопе под Радомской тюрьмой. Она молится по целым дням. Ее дело будет слушаться завтра.

Ватерлос отсидел в карцере семь дней. Он уже в другой камере — не знаю в какой. Наверху, в камере № 20, несколько дней проходила голодовка в знак протеста против плохой пищи; вчера она прекратилась. Раньше здесь питание для всех было хорошее (по 37 копеек на заключенного), но с сентября прошлого года положение изменилось. Для политических отпускают попрежнему 37 копеек, а для уголовных «кормовые» снижены до 11 копеек. При этом в уголовные зачисляют всех, кого заблагорассудится. Так, например, в уголовных превращены радомчане (они голодали четыре дня; пища им улучшена, но очень незначительно) и бывший солдат из Замброва, сидящий в настоящее время в нашем коридоре и даже обвиняемый не в убийстве, а лишь в принадлежности к партии.

26 июля

Сегодня, в воскресенье, заковали двоих. Повидимому, их завтра отправят в ссылку. По делу о подко-

пе пять человек оправдано (один из них на нашем коридоре; он продолжает оставаться здесь). Солдату из Замброва увеличили кормовые до 37 копеек.

Сегодня мне удалось пересчитать гуляющих: их оказалось 60 человек на нашем дворе; следовательно, всего около 120. Из этих шестидесяти — десять женщин, четыре офицера-артиллериста и один офицер-кавалерист. В двух камерах сидят по шесть человек, в одной — пять, в одной — четыре, в двух — по три. Наверху прежние следственные кабинеты переделываются в камеры. Говорят, что в X павильоне сидят не только подследственные, но и много отбывающих наказание. По слухам, тех, у кого срок каторги не больше восьми лет, не отправляют в Сибирь, потому что там уже все тюрьмы переполнены, а размещают их в тюрьмах Европейской России и царства Польского.

29 июля

Сегодня во всех камерах закрыли окна и накрепко забили их гвоздями. Теперь камера опять закрылась, как могила, и не видно ни неба, ни деревьев, ни ласточек. Даже свежий воздух отнят у нас. По слухам, все это сделано потому, что заключенные переписывались друг с другом, опуская из окна на веревке письма. Говорят, что явился новый «заведующий» (незадолго до этого уже одного заведующего сменили) и отказался принимать павильон, если не заколотят окон. Вчера разрешалось открывать окна, сегодня их закрыли наглухо.

За последние дни в наш коридор приведены четыре новичка. Сидевшую в одной камере с моей соседкой выслали в Радом, а на ее место привели новую заключенную из Петрокова. Сегодня тяжело. Кое-кто подумывает о протесте, о борьбе; возможно, что это выльется в столкновение, но уже ничто не поможет, окон не откроют.

7 августа

В нашем коридоре уже несколько дней сидит некий Кац. Он был арестован в Берлине 25 июня, на следующий день после собрания, на котором присутствовал. Продержали его там две недели. Он нахо-

дился под таким строгим наблюдением, что не смог никого уведомить о своем аресте. После этого его курьерским поездом отвезли в Вержболово и там передали русским властям. От Берлина до Ковно его везли в ручных и ножных кандалах. По слухам, министр иностранных дел телеграфировал берлинской полиции, чтобы его переслали в X павильон Варшавской цитадели. В Ковно он провел один день, и оттуда его перевели сюда. Его обвиняют в принадлежности к группе анархистов.

16 августа

По слухам, рабочий из Пабианиц оправдан... Несколько недель тому назад судили боевую организацию ППС. Все поражены мягкостью приговора: только один Монтвилл приговорен к 15 годам каторги, пять человек оправданы, несколько человек приговорено к восьми годам. Одному два года восемь месяцев каторги заменены шестью месяцами тюрьмы. Другому, по слухам, ссылка на поселение заменена месяцем тюрьмы. Такая же замена применена к одной женщине. Все поражены; кое-кто уже воображает, что период репрессий кончился.

По поводу того, что забили окна, кое-кто из женщин выступил с проектом вышибить все стекла. Это предложение отпало. Другие предложили объявить голодовку, требуя также уравнения всех в пищевом довольствии до 37 копеек, но и это предложение отпало: ни одна почти голодовка не довела до победы. Ватерлос в сентябре прошлого года дважды устраивал голодовку: один раз 15 дней, другой раз — 8; ему ручались честным словом, что все его требования будут удовлетворены, и ни одно не было удовлетворено. Один анархист два раза объявлял голодовку, требуя снятия кандалов. На шестой день с него сняли кандалы, а неделю спустя он был вновь закован.

Голодные протесты уже не производят впечатления. Власти знают, что такого рода протест долго продолжаться не может и что не все могут участвовать в нем. Выдерживают голодовку только более стойкие, но сами от этого очень страдают.

Говорят, что новый заведующий человек «добрый». Он придумал средство, чтобы и волки были сыты и овцы целы: окна попрежнему заколочены, но во время прогулки двери камер открываются в коридор. Что касается пищи — более зажиточным заключенным разрешено не брать всей порции, а часть ее передавать тем, которым отпускаются на довольствие 11 копеек. Со временем из этого может получиться то, что всем будет уменьшена порция и красть будут больше. Теперь — это надо признать — к нам не придираются и относятся хорошо. В последнее время не было даже слышно прежней ругани тех жандармов, которые ненавидят нас и которые довольны, когда могут чем-нибудь нас уязвить. Если бы не это, то здесь нельзя было бы выдержать и дело доходило бы до жесточайших столкновений. Ведь люди идут отсюда на виселицу или на многие годы каторги, а о днях свободы они еще не забыли и не могут примириться с мыслью, что навсегда или на долгие годы все кончено.

То, что больше всего угнетает, с чем заключенные не в состоянии примириться, — это таинственность этого здания, таинственность жизни в нем; это режим, направленный на то, чтобы каждый из заключенных знал только о себе, и то не все, а как можно меньше. И заключенные страстно борются за то, чтобы разорвать завесу этой таинственности; отсюда эта постоянная переписка, подыскивание самых замысловатых способов пересылки писем от одного к другому, покашливание в коридоре, пение и посвистывание в камерах. Создана целая система сигналов. Когда старые «почтовые ящики» для корреспонденции проваливаются, придумываются новые. Кое-кто довел до полного совершенства способы сношений с другими, предается этому весь и только этим живет. Таких переводят из одной камеры в другую, стараются их как-нибудь утихомирить, но ничто не в состоянии охладить их энтузиазма. Если иначе уже нельзя, они во время прогулки подают гуляющим всевозможные знаки через выходящие на дворик окна или же из уборной. Жандармы не могут сладить с ними и склон-

ны махнуть на них рукой в расчете на то, что в конце концов их уберут отсюда. Они знают все. Часто, когда у них сведения не полны, они не стесняются и присочинить. Отсюда ложные сведения, взятые с потолка или высосанные кем-либо из пальца.

Проникло к нам известие о том, что охранка подослала сюда шесть шпиков, что в среде заключенных есть провокаторы. Началась слежка. Бывало, что обнаруживали действительных провокаторов, но бывало также, что подозрение падало на людей, возможно ни в чем не повинных. Некоторое время тому назад, когда офицера вывели на прогулку с новеньким, кто-то из заключенных через окно в уборной крикнул: «Это шпик!» Ганка говорила со мной об Овчарек, как о явном предателе, а после как ни в чем не бывало сидела с Овчарек в одной камере и, гуляя, шалила и играла с ней. Впрочем, они, повидимому, вновь поссорились, так как сидят отдельно. Сегодня Ганка, не знаю за что, просидела всю ночь в карцере. Создается атмосфера недоверия, портящая совместную жизнь: каждый по мере возможности замыкается в себе.

Шпионов действительно много. Здесь так часто сменяют товарищей по камере (редко кто сидит один, большинство сидит по два человека, а есть камеры, в которых сидят по трое и больше), что цель этого становится очевидной: дать возможность неразоблаченным шпикам узнать как можно больше. Несколько дней тому назад я увидел в окно бесспорно уличенного в провокации на прогулке с вновь прибывшим из провинции. Этот провокатор — интеллигент. Я крикнул в окно: «Товарищ! Гуляющий с тобой — известный мерзавец, провокатор». На следующий день они уже гуляли каждый отдельно.

Сейчас я опять подозреваю одного человека. Будучи еще на свободе, я знал фамилию одной предательницы. И вот я узнаю, что фамилия одной из заключенных, которая здесь ведет себя безупречно, такая же, как у той предательницы; дальше я случайно узнаю, что она близко знакома с людьми, с которыми была знакома и та, что некоторые черты ее характе-

ра сходны с чертами характера той, и во мне, помимо моей воли, зарождается сомнение, которое я сначала подавлял, но которое все более и более усиливается. Само собой разумеется, что я ни с кем не поделился своими подозрениями и делаю все, чтобы выяснить это дело.

21 августа

Сегодня весь день павильон в движении. Таскают тюфяки, кровати, переводят заключенных из одной камеры в другую. Мою соседку, «бедную сироту», как мы ее прозвали, перевели в другой коридор — туда, где сидит Овчарек, несмотря на то, что ей ужасно не хотелось уходить от нас. Заключенного, сидевшего в верхнем коридоре (восемь лет каторги), увезли сегодня в тюрьму «Арсенал». К нам в коридор перевели товарища из Радома (он уже приговорен к бессрочной каторге) и одного члена Левицы ППС.

Два сокамерника шпиона Вольгемута переведены в другие камеры; его самого, кажется, уже здесь нет.

В 3-м коридоре отбывают наказание приговоренные к заключению на три года в крепость бывшие офицеры Аветисянц и его сопроцессник, оба из Военно-революционной организации (срок им кончается 24 августа 1909 года), бывший военный инженер, приговоренный за оскорбление царя к одному году (до 7 июля 1909 года), и один гимназист, которому, по ходатайству матери, четыре года каторги заменили одним годом крепости. Они ежедневно получают газеты, но их немедленно по прочтении у них отнимают, чтобы лишить возможности переслать газеты нам. 11 июня их перевели сюда с гауптвахты по доносу сидящего там пабианицкого полицмейстера Ионина, расстрелявшего совместно с двумя стражниками арестованного Гризеля. Ионин — известный мерзавец, один из «героев» карательной экспедиции в Латвии. Доносы этого негодяя в высшей степени характерны. Он донес, будто бы на гауптвахте находится центр Военно-революционной организации, будто там печатаются воззвания, будто оттуда распространяется литература, ведется агитация в армии и т. д. И он

добился своего—этих офицеров перевели сюда. Гауптвахта находится рядом с X павильоном. Это двухэтажное здание. Внизу — камеры для подследственных солдат, привлекаемых по обвинению в уголовных и военных преступлениях. На втором этаже сидят за нарушение дисциплины офицеры и «дворяне», приговоренные к аресту на несколько дней. Камеры их не закрываются, окна без решеток. На третьем этаже — приговоренные к крепости и офицеры, ожидающие суда. Эти камеры запираются, окна снабжены решетками, но временами их не запирают по целым неделям. Это бывает в тех случаях, когда начальниками караула попадаются порядочные офицеры. У них там бывают все газеты, и им очень легко сноситься с внешним миром.

Там сидел один год и четыре месяца офицер Шаманский, отказавшийся в 1905 году повести свою роту на расправу с забастовавшими рабочими; там же сидел до суда два месяца казацкий офицер Рубцев по обвинению в том, что отказался расстрелять рабочих, приговоренных полевым судом к смертной казни. Суд приговорил его за это к увольнению со службы. Сидел там также два месяца жандармский младший офицер за освобождение 10 политических заключенных. В настоящее время, между прочим, отбывает там наказание капитан первого ранга из эскадры Небогатова, приговоренный к 10 годам крепости за сдачу эскадры японцам. Сидит также подпоручик Денеко (из ивангородской крепостной артиллерии), толстовец, приговоренный в апреле 1908 года к шести годам арестантских рот за отказ от службы. Арестантские роты по этому приговору заменены лишением офицерского звания.

29 августа

«Когда-то я легче переносил тюрьму, теперь я уже стар, и мне тяжело. Тогда я не думал о будущем, но жил им, так как был силен; теперь я чаще думаю о будущем, потому что не вижу перспективы и мне здесь тяжело. Не могу привыкнуть к тому, что я в заключении, что нет у меня своей воли. Не могу прими-

риться с появляющейся все чаще и чаще мыслью, что завтрашний день будет такой же серый, однообразный, без содержания и смысла, как сегодняшний. И тоска принимает размеры ностальгии[1], вызывает физическую боль, сосет кровь, сушит. И меня влечет отсюда в поле, в мир красок, звуков и света — туда, где слышен шум леса, где по небу движутся в неизвестные края белые облака, влечет вдаль, где дышится чистым воздухом, живительным, свежим, где лучезарное солнце, где пахнут цветы, где слышно журчание рек и ручейков и где море никогда не перестает шептать и разбивать о берег свои волны. И день, и ночь, и утренняя заря, и предвечерние сумерки так привлекательны и дают столько счастья! Меня ожидает смертный приговор, который, вероятно, будет заменен многими годами каторги. В легких у меня что-то попортилось, я пролежал в больнице три месяца и несколько дней назад вышел оттуда. Я чувствую, что мне уже не долго здесь оставаться. Я не жалуюсь, не проклинаю своей судьбы, я даже спокоен, несмотря на то, что ужасно хочется жить и убежать отсюда. Я пишу это... Не хочу лгать... И неужели стыдно того, что я люблю жизнь, неужели надо покрывать ложью ужасы, отравляющие, грязнящие и извращающие эту жизнь? И, если бы я выбрался отсюда, разве мог бы я изменить свою жизнь и вновь не вернуться сюда?»

Приблизительно такого содержания письмо получено мною от товарища, который несколько дней тому назад переведен сюда из лазарета. Я увидел его, когда он был на прогулке, и нам удалось связаться друг с другом и организовать обмен письмами. Его держали несколько месяцев в кандалах под тем предлогом, будто он бежал с каторги, что является наглой ложью. Он заболел и пролежал три месяца в лазарете. Обвиняют его в участии в убийстве шпиона.

25 августа слушалось дело 11 радомчан, обвинявшихся в принадлежности к ППС и в нападении на

---

[1] **Ностальгия** — болезненный характер тоски по родине.— Ред.

монопольки[1]. Две женщины оправданы, остальные девять человек, в том числе два предателя: Гаревич и Тарантович, приговорены к смерти. Приговор был смягчен. Одному предателю смертная казнь заменена шестимесячным (!) тюремным заключением, другому — ссылкой на поселение, остальным заключенным — каторжными работами от 10 до 20 лет. Этот Тарантович сидел некоторое время рядом со мной, называя себя Талевичем. Это он жаловался, что приходится умирать в таком молодом возрасте, и уверял, что, если бы ему было 40 лет, за ним было бы не 17 дел, как теперь, а гораздо больше. Гуляют здесь еще два шпиона: Сагман (он же Зверев, он же Орлов), одетый в студенческий мундир, и Вольгемут.

31 августа

Сегодня слушалось дело 37 варшавских социал-демократов. 12 человек приговорены к ссылке на поселение, 25 человек оправдано. 25 августа разбиралось дело семи лодзинских социал-демократов; по слухам, трое приговорены к четырем годам каторги, одна — на поселение, три человека оправданы. Говорят, что никаких доказательств их вины не было и что суд основывался исключительно на показаниях жандармского полковника.

6 сентября

Сегодня я убедился, что, к сожалению, мои подозрения были обоснованы. Оказывается, Ганка была в Творках (дом для умалишенных) и оттуда была увезена прушковскими социал-демократами, а когда ее после этого арестовали, она выдала тех, которые ее освобождали: сама ездила с жандармами и указывала квартиры освободивших ее товарищей. Здесь она сидит под вымышленной фамилией, тщательно скрывая свою подлинную фамилию Островской. По-

---

[1] Монопольки — так называли в Польше в царское время государственные магазины, монопольно торговавшие спиртом и водкой. — Ред.

чему она предавала? Кто ее знает: может быть, ее избивали, а возможно, что она действительно сумасшедшая. Теперь она уже несколько дней сидит в коридоре надо мной. Сегодня я обо всем этом уведомил других. Я обязан был это сделать. Возможно, что вначале она попытается защищаться, утверждать, что все это ложь. Она, вероятно, будет бороться хотя бы за щепотку доверия. Но заслуженный удел ее — позор, самый тяжелый крест, какой может выпасть на долю человека.

Я иногда вижу на прогулке провокаторов. Двое из них производят кошмарное впечатление: глаз не поднимают, лица, словно бледные маски отъявленных преступников, — застывшие, неподвижные, с печатью отвержения на лбу. Весь их вид напоминает корчащуюся собаку, когда на нее замахнешься. Один из них Вольгемут, другой Сагман. Трое других делают вид, будто ничего не случилось, и трудно по их лицам определить, что они собой представляют. Остальные два еще смеются, шутят, веселы; это профессиональные провокаторы.

Сегодня заковали четверых, в том числе Монтвилла (он сидит надо мной).

Мать двух детей, по слухам, приговорена к ссылке на поселение на 12 лет за то, что ее квартирант убил солдата во время обыска и удрал с ее мужем. Дети сидят вместе с ней. Сегодня во время прогулки она за что-то отшлепала старшего сына. Я увидел это в окно и хотел накричать на нее: в тюрьме, за решеткой, все воспринимается до странности преувеличенно. А ребенок как ни в чем не бывало продолжал шалить, бегать по двору, гоняться за курами, собирать листья.

Рядом со мной сидит молодой офицер. Я поддерживаю переписку лишь с ним одним. С завтрашнего дня мы будем гулять вместе. Это внесет разнообразие в нашу жизнь. Надолго ли?

Ватерлосу вручили обвинительный акт. Он обвиняется в принадлежности к партии анархистов-коммунистов (по этому делу привлечено 18 мужчин и 6 женщин); 15 лет каторги у него уже за спиной за

ограбление какого-то купца. Когда читаешь о таких нападениях и убийствах, не верится, что такие люди, как Ватерлос, могут быть и исполнителями и руководителями этих актов.

11 октября

Ночью с 8-го на 9-е повешен Монтвилл. Уже 8-го с него сняли кандалы и перевели в камеру смертников. Во вторник 6-го его судили за участие в нападении вблизи станции Лапы на поезд, в котором перевозили солдат Волынского полка. Он не строил никаких иллюзий и 7-го, когда мы были на прогулке, взобрался на окно и попрощался с нами. Его повесили в час ночи. Палач Егорка, по обыкновению, получил за это 50 рублей. Последними словами Монтвилла на эшафоте были: «Да здравствует независимая Польша!» Ночью с 7-го на 8-е казнили какого-то старика из камеры № 60. И после этих ночей, когда совершились такие ужасные преступления, ничего здесь не изменилось: попрежнему светлые осенние дни, солдаты, жандармы, установленные смены их, наши прогулки. Только в камерах становится тише, не слышно пения, многие ждут своей очереди.

С 24 сентября я сижу в одной камере с офицером, поручиком артиллерии Б. Он сидит уже десятый месяц, обвиняемый лишь в том, что он не донес на своего товарища, якобы принадлежавшего к Всероссийскому офицерскому союзу. Его обвиняют лишь на том основании, что он жил вместе с этим товарищем. Это дело ведет известный мерзавец жандармский подполковник Вонсяцкий. По этому делу привлекаются шесть офицеров и около 40 солдат. Вонсяцкий с мая обещает кончить дело и оттягивает с недели на неделю. В последний раз он сказал, что 14 сентября предъявит всем обвинительные акты и перешлет дело прокурору, но до сих пор все еще ничего не известно. Все офицеры вынуждены были подать в отставку, в противном случае их уволили бы со службы в дисциплинарном порядке. Вонсяцкий объявил Б., что он его не освободит даже под залог, если не будет получено сообщение об его отставке.

В высшей степени характерен разговор Вонсяцкого с заведующим X павильоном Успенским в марте, когда последний возвратился из зала судебных заседаний. Вонсяцкий: «Ну, все в порядке?» — «Да! Все пять приговорены к смерти».

Анархист Ватерлос и один офицер уже семь дней сидят в карцере, анархисту Кацу из этой же камеры предстоит отсидеть в карцере четыре дня, а Марчевской-Островской и работнице из камеры № 20 — по три дня.

У нас (теперь камера № 52) и над нами были проведены «телефоны» из камеры в камеру, — попросту говоря, пробуравлены дыры в стене. Недавно эти дыры были заделаны. Но в тот же день заключенные их вновь пробуравили. На следующий день это было обнаружено, и дыры вновь заделали, уже за наш счет. Многие из нас после этого отказались продолжать эту канитель. Анархисты, наоборот, предлагали держать пробуравленные дыры «демонстративно» открытыми. С этим предложением согласились лишь три камеры: №№ 18, 19, 20. Заведующий Елкин приказал отвести Ватерлоса в карцер. Пришли пять здоровенных жандармов во главе с вахмистром и увели его в карцер, не считаясь с тем, что заключенные в других камерах колотили в двери. Камеры №№ 18, 19, 20 потребовали прокурора, несмотря на то, что их уговаривали не делать этого, так как прокурор мерзавец и еще хуже расправится с ними.

Явился товарищ прокурора. Через несколько дней после его посещения от прокурора пришло распоряжение посадить в карцер заключенных всех трех камер. После этого столкновения отношения между заключенными стали более холодными и напряженными.

Тактика анархистов — борьба из-за каждого пустяка, постоянная, никогда не прекращающаяся. Тактика других — прямо противоположная: заботиться прежде всего о сохранении своих сил, избегать по возможности столкновений, но вместе с тем отстаивать свои права и свое достоинство. Недавно дело чуть не дошло до суда над одним из анархистов, пы-

тавшимся вызвать столкновение и вовлечь в него другие коридоры ложным сообщением, что весь его коридор решил устроить скандал, в то время как в его коридоре никто не имел об этом ни малейшего представления.

Вот уже несколько недель у нас новый вахмистр, по слухам, отъявленный мерзавец. Приглашен он сюда Вонсяцким. Я видел его во время свидания. Он внимательно следил за нашим разговором и для того, чтобы быть ближе, нагло развалился на столе и то и дело вмешивался в разговор. Возмутительный нахал! Мне принесли галоши, он отказался их принять, уверяя, что здесь галоши совершенно не нужны.

С тех пор как он пришел сюда, нельзя допроситься ни ванны, ни книг из библиотеки; так называемые «выписки» [продуктов] производятся вместо двух раз всего один раз в неделю. Несомненно, что он обнаружил, что среди местных жандармов есть революционеры. В связи с этим у них забрали и сожгли русские книги, взятые из библиотеки, а многих жандармов заменили новыми. Говорят, что всех «развращенных» отправят в «эскадрон», а сюда пришлют новых. Начальник эскадрона отказывается их принять и умоляет генерала не отправлять их к нему, потому что они «развратят» весь эскадрон, а те, которых ему придется прислать на замену их, тоже «развратятся», сталкиваясь с нами. Несомненно одно, что армия вообще «развращена», что многие, пришедшие в армию по набору, «развращены» и, в свою очередь, «развращают» остальных.

Тревога была вызвана тем, что один из жандармов отправил генералу Утгофу анонимное письмо, написанное печатными буквами, с требованием выплаты им, кроме 50 копеек, выплачиваемых каждому солдату, еще 1 рубля 50 копеек в месяц «добавочно» за их службу в X павильоне. Этих денег начальство им не дает, а вносит в какую-то кассу.

25 октября

Уже неделю я сижу один в камере № 3 1-го коридора. В этом коридоре всего пять камер. Окно выхо-

дит в парк лазарета. Тихо здесь, одиноко, да и жандармы в большинстве новые. Из старых остались лишь худшие. Сегодня сосед простучал мне, что Ватерлос голодает уже 12 дней, требуя улучшения пищи, письменных принадлежностей, ванны и вызова консула. По слухам, он уже без сознания. После того как он просидел семь дней в карцере, его посадили в камеру № 50, совершенно изолированную, в прежнем коридоре смертников, теперь предназначенном главным образом для бандитов. Говорят, что его и еще одного анархиста собираются держать здесь долгие годы, опасаясь, что их, в случае отправки, отобьют или же они убегут.

12 ноября

Три дня (7, 8 и 9-го) слушалось дело мое и моих товарищей; три дня у меня было большое развлечение. Суд происходил в Судебной палате. Меня возили туда в ручных кандалах на извозчике. Я был возбужден и обрадован тем, что вижу уличное движение, лица свободных людей, вывески и объявления магазинов, трамваи. Обрадовала меня встреча с товарищами и то, что я увидел несколько знакомых. Зал судебных заседаний... Большие окна... Всевозможные аксессуары... И, наконец, самый суд, состоящий из семи человек, прокурор, эксперты, поп и ксендз, свидетели, защитники, близкие, родные. Приведение к присяге свидетелей, экспертов и переводчика, показания свидетелей, обвинительная речь прокурора, требовавшего высшего наказания по второй части 126-й статьи, заявившего при этом, что мы подвергаемся наказанию не для исправления, а для устранения. Потом была речь Ротштадта, который сам себя защищал, и выступления защитников. После более чем часового обсуждения был объявлен приговор. Я получил ссылку на поселение, Ротштадт и Аусем — по четыре года каторги, а четвертый подсудимый — год заключения в крепости. Председатель прочитал приговор. Нас все-таки признали виновными по второй части 126-й статьи, несмотря на то, что было доказано, что у социал-демократии Польши и Литвы не

было складов оружия и взрывчатых веществ. Достаточных доказательств нашей принадлежности к партии тоже не было. Нам вынесли приговор, руководствуясь исключительно «голосом совести», а эта «совесть» оказалась не менее чуткой к требованиям властей, чем «совесть» военных судей. Только меня одного приговорили к ссылке на поселение, по всей вероятности, только потому, что им было известно, что по другому числящемуся за мной делу они смогут закатать меня на каторгу. Говорят, что жандармы возбуждают против меня уже третье дело. Теперь все дела о социал-демократах будут подводиться Судебной палатой под 102-ю статью.

Во время суда я совершенно не думал о том, что это именно нас судят и закатают на долгие годы. Я не думал об этом, хотя у меня не было никаких иллюзий относительно приговора. Я глядел на судей, на прокурора, на всех присутствовавших на суде, на стены, украшения, глядел с большим интересом потому, что видел свежие краски и цвета и других людей, другие лица. Я словно присутствовал на каком-то торжестве, не печальном, не ужасном, — на торжестве, которое вовсе меня не касалось. Мои глаза насыщались свежими впечатлениями, и я радовался, и хотелось каждому сказать какое-нибудь доброе слово.

Был только один момент, когда я почувствовал, словно собираются кого-то хоронить. Это было тогда, когда нас ввели в зал суда для выслушивания приговора, когда нас вдруг окружили 15—20 жандармов и вынутые из ножен сабли блеснули перед нами в воздухе. Но это настроение рассеялось, как только председатель начал читать приговор: «По указу его императорского величества...»

Сегодня я опять в камере. Я не сомневаюсь в том, что меня ждет каторга. Выдержу ли я? Когда я начинаю думать о том, что столько дней мне придется жить в тюрьме, день за днем, час за часом, по всей вероятности, здесь же в X павильоне, мною овладевает ужас, и из груди вырывается крик: «Не могу!» И все же я смогу, необходимо смочь, как могут другие,

как смогли многие вынести гораздо худшие муки и страдания. Мыслью я не в состоянии понять, как это можно выдержать, знаю лишь, что это возможно, и у меня рождается гордое желание выдержать...

Пока я совершенно один. Ни с кем в коридоре я не веду переписки и отрезан от всего павильона. Вахмистр уже другой, того, к счастью, убрали. Он был невыносимо злой. Новый, кажется, недурной. Я его еще не знаю. Новые жандармы в общем не придираются к нам. Только с одним у меня было столкновение. Поздно ночью я читал. Он ежеминутно подходил к моим дверям, терся об них, поднимал крышку «глазка», подглядывал, со стуком опускал крышку и, не отходя от дверей, опять ее поднимал. Я попросил его, чтобы он этого не делал; пусть, мол, себе подглядывает, если это доставляет ему удовольствие, но пусть не стучит и не трется о двери. Минуту спустя он нарочно начал стучать. Я устроил скандал. Он довел меня до такого бешенства, что я в состоянии был бы броситься на него, но пришел дежурный и велел ему прекратить эту игру.

15 ноября

Хочется писать. Вот уже несколько дней царит в моем коридоре могильная тишина. В коридоре я и кто-то напротив меня — и больше никого. Остальные камеры пустые. Несколько дней назад всех, кроме нас, перевели в другие коридоры. Я не переписывался с ними. Но я их чувствовал, слышал... А теперь остался один, и мне тяжело в моем одиночестве.

4 декабря

Хочется сегодня вновь вернуться к нашему суду.

Неделю спустя после объявления приговора меня вновь повезли в Судебную палату и прочитали мне приговор в окончательной форме. Оказалось, что я признан виновным не только в принадлежности к партии, но и во всем том, что голословно вменялось мне в вину и в обвинительном акте и в речи прокурора. Так, например, в приговоре устанавливается

как факт, что у меня была связь с агитационно-пропагандистской комиссией партии только на том основании, что в письме одного из обвиняемых упоминалось об этой комиссии, но в этом письме не было ни малейшего указания на какое бы то ни было мое отношение к ней. Суд решил, что я разъезжал по партийным делам по Польше и России, хотя не было ни малейшего доказательства и даже малейшего указания, что я вообще разъезжал. Дальше в качестве самого основного доказательства моей принадлежности к партии и моей деятельности в Польше фигурировали мои письма, написанные из Кракова в Цюрих в 1904 году. Прокурор мимоходом упомянул в своей речи, что эти письма были написаны из Варшавы; при этом он подчеркнул, что эти мои действия в 1904 году не подлежат амнистии по октябрьскому манифесту 1905 года, так как амнистия касалась только первой, а не второй части 126-й статьи. Блестящая речь адвоката, доказавшего, что письма были написаны из Кракова и что они уже хотя бы поэтому не могут повлечь за собой наказания, что амнистия распространялась на эти проступки (тогда по манифесту были освобождены от ответственности все обвиняемые в принадлежности к социал-демократий, так же как и привлекавшиеся по делу варшавской типографии социал-демократов), оставлена без ответа прокурором, настолько он был уверен в судьях, и судьи не обманули возлагаемых на них надежд. Защиты словно вовсе не было. Я подал кассационную жалобу. Само собою разумеется, что дело не в уменьшении наказания.

Третьего дня мне был вручен второй обвинительный акт по другому делу, уже по обвинению по второй части 102-й статьи. Ссылка на поселение — по этой статье самая меньшая мера наказания, но я хочу попытаться добиться всеми мерами замены второй части первой, учитывая, что суду предстоит разбирать целый ряд подобных дел. Если ничего из моих попыток не выйдет, то это будет доказательством того, что вся Судебная палата руководствуется только местью.

Второе мое дело будет, вероятно, слушаться палатой через 2—3 месяца. Теперь все дела социал-демократов идут уже по 102-й статье, а не по 126-й. Наказание по этой статье гораздо более строгое. Такова инструкция из Петербурга, по всей вероятности, благодаря настояниям Скалона и Заварзина. К первому моему делу была применена статья 126-я только потому, что обвинительный акт был составлен год назад, и потому, что военная прокуратура отказалась принять это дело. Второе мое дело было направлено в Судебную палату разве только потому, что доказательства настолько ничтожны, что не было уверенности, как отнесутся к этому офицеры.

Несколько дней назад в военном суде слушалось дело 19 социал-демократов, захваченных на собрании. Приговор очень строгий. Четыре человека — по шесть лет каторги, девять — по четыре года, шесть — на поселение. Судили их по первой части 102-й статьи. Вчера слушалось дело 13 бундовцев из Кола Калишской губернии. Большинство из них — пятнадцатилетние мальчуганы. Один оправдан, двоих приговорили к четырем годам каторги, пятерых — к двум годам восьми месяцам, остальных — на поселение.

15 декабря

Четыре дня тому назад отобрали у меня и моего товарища по камере все письменные принадлежности. Во время нашей прогулки в камере был произведен тщательный обыск. Мы вернулись с прогулки как раз в тот момент, когда вахмистр рылся на полу в наших вещах и, злой, обрушился на жандарма за то, что он привел нас слишком рано. Заведующий тоже собирался войти в камеру, но, увидев нас, поторопился повернуть. Мы вызвали его через жандарма, требуя, чтобы он пришел, но он до сих пор не изволил явиться, и нам не известно, по какому поводу обрушилось на нас наказание. Два месяца тому назад у кого-то на воле было захвачено мое письмо. Заведующий сказал мне тогда, что он отнимет письменные принадлежности, если это повторится. С этого времени я не отправлял ничего на волю, но, несомненно, этот

обыск производился из-за меня, а не из-за моего товарища. Вчера был день, когда обычно пишут письма, и нам велено было писать их в присутствии жандарма, чтобы не отлить себе чернил.

Вчера ночью казнен кто-то, сидевший под нами в камере № 29. Неделю тому назад повесили двоих из этой же камеры. В окно слышно, как идут на место казни солдаты, затем доносится беготня из канцелярии, слышно, как выводят приговоренных из камеры в канцелярию, а затем из канцелярии, со связанными руками, в тюремную каретку. После этого целые дни, когда слышишь шагающие отряды войск, кажется все, что это опять ведут кого-нибудь на казнь.

Я теперь в камере № 1 — рядом с канцелярией. Меня перевели сюда четыре недели тому назад и посадили с другим товарищем, несмотря на то, что я просил не сажать меня ни с кем. Повидимому, сделано это для того, чтобы ограничить мою возможность агитировать жандармов. Жандармы боятся разговаривать с сидящими вдвоем. Правда, на следующий день хотели удовлетворить мою просьбу и перевести моего сокамерника в другую камеру, но тут мы сами запротестовали. Мой товарищ по камере, рабочий, обвинявшийся в принадлежности к ППС, оправдан военным судом 3 августа, но его продолжают держать вместе с другими его сопроцессниками, также оправданными. Собираются сослать их административно в Сибирь на 5 лет каждого, ждут только решения из Петербурга.

Рядом с нами сидела Мария Р. Оправданную в четверг второй раз военным судом (теперь по обвинению в убийстве стражника, раньше — в принадлежности к варшавской боевой организации ПСС), в субботу ее увезли в ратушу. Теперь, говорят, она в «Сербии» (женская тюрьма) дожидается из Петербурга решения об административной ссылке. В павильоне все любили ее за веселый характер и за молодость. Несколько дней сидела с ней вместе шпионка, присланная сюда охранкой и получившая за это 15 рублей, с тем чтобы заключенные заводили с ней романы и чтобы она могла этим путем выудить

сведения у легковерных людей. Но она недостаточно ловко это проделывала и немедленно же была разоблачена. Она называла себя Юдицкой; письма для нее направлялись, как Жебровской, а жандармы именовали ее Кондрацкой. Во 2-м коридоре тоже сидел шпион, выдававший себя за доктора из Стараховиц Радомской губернии. Оказалось, что он вовсе не знает этой местности. К нему обратились за медицинской помощью: кто-то жаловался на болезнь почек. Он предложил ему самому прослушать свои почки: «Если звук ясный, отчетливый, тогда почки здоровые, если глухой — необходимо лечиться» и т. д.

Ватерлос был после голодовки все время в больнице, кандалы с него сняли. Теперь его опять перевели в X павильон, кажется, опасаясь, чтобы он не убежал из лазарета. Врач будто бы сказал, что он дольше месяца не проживет.

Аветисянц, бывший офицер, отбывающий здесь срок заключения в крепости, тоже очень плох, хотя и не подозревает этого. У него туберкулез.

Дней 7—10 назад здесь арестован солдат по фамилии Лобанов, производивший для нас покупки. Он сидит теперь во втором номере. За что арестован, не знаю. Жандармы теперь запуганы и боятся разговаривать с нами; только по глазам можно узнать, кто сочувствует нам. А заведующий хоть мил, предупредителен и любезен, но, кажется, жандарм до мозга костей. Он постепенно вводит все более и более строгий режим, все чаще и чаще сажает людей в карцер и подбирает как можно более «желательных» для власти жандармов. Когда он боится, что «размякнет», он вовсе не является и присылает записку с распоряжением, какое наложить наказание. По его приказу, во время прогулки заключенных в камерах производятся обыски. Он, повидимому, сознает всю низость своей службы, но и все выгоды ее. На прошлой неделе он посадил в карцер больного Каца. 4-й и 9-й коридоры заступились за Каца и потребовали, чтобы заведующий пришел для объяснений. Он не пришел, и только в 2 часа ночи в 4-й коридор, где сидят офицеры, явился вахмистр и солгал, что Кац уже освобожден из карцера.

На следующий день посадили в карцер одного офицера. Группу офицеров рассадили по всему павильону, несмотря на то, что недавно, по окончании следствия по их делу, девять человек из них поместили в трех смежных камерах и разрешили им выходить вместе на прогулку. Сегодня офицера З. опять перевели к нам, взяв с него честное слово, что он будет писать на волю исключительно через канцелярию (недавно на воле провалились их письма, и в связи с этим у них отобрали письменные принадлежности).

Следствие по их делу закончено только месяц тому назад. К делу привлекаются до 60 человек. Вонсяцкий ухитрился превратить Всероссийский офицерский союз в Военно-революционную организацию социал-демократии только на том основании, что кое-кто из офицеров находился в связи с социал-демократами. Главным свидетелем по этому делу является некто Гогман, бывший офицер из Брест-Литовска, обокравший военную кассу, бежавший, пойманный и приговоренный к полутора годам арестантских рот. Его перевел сюда Вонсяцкий, и его подсаживали по очереди ко всем привлеченным по этому делу офицерам. Все знали, что он шпион, остерегались его и ничего не говорили при нем, а он на дознании передавал всевозможные небылицы и показывал все, в чем Вонсяцкий обвинял офицеров. Он проделывал и не такие еще фокусы. Он оставался в камере, когда другие ходили на прогулку, и в отсутствие того или иного офицера точками в книгах писал компрометирующие его данные. Об одном из офицеров он, например, показал, что, когда он, Гогман, гулял по двору с двумя солдатами, тот крикнул в окно: «Товарищи, это негодяй, шпион!» и т. д. В действительности это крикнул я, и Гогман прекрасно меня видел, так как довольно долго присматривался ко мне.

В камере № 2 теперь сидит один из десяти увезенных из «Павиака», впоследствии выданный русским властям Швейцарией. Он обвинялся в убийстве Иванова, и хотя мотивы этого убийства были политические, но он осужден как уголовный, и 1 февраля текущего года приговорен окружным судом к шести годам

каторги. Пока он содержится здесь, так как если бы его сослали в Сибирь, то уже 1 февраля 1910 года его пришлось бы сдать в вольную команду, а освободить от кандалов еще 1 февраля 1909 года. По всей вероятности, его будут держать здесь все шесть лет. Кроме него, здесь отбывает наказание анархист Ватерлос и еще несколько человек.

31 декабря

Сегодня — последний день 1908 года. Пятый раз я встречаю в тюрьме Новый год (1898, 1901, 1902, 1907); первый раз — одиннадцать лет тому назад. В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни. И, несмотря на это, в душе никогда не зарождалось сомнение в правоте нашего дела. И теперь, когда, может быть, на долгие годы все надежды похоронены в потоках крови, когда они распяты на виселичных столбах, когда много тысяч борцов за свободу томится в темницах или брошено в снежные тундры Сибири, — я горжусь.

Я вижу огромные массы, уже приведенные в движение, расшатывающие старый строй, — массы, в среде которых подготавливаются новые силы для новой борьбы... Я горд тем, что я с ними, что я их вижу, чувствую, понимаю и что я сам многое выстрадал вместе с ними. Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, по временам даже страшно... И, тем не менее, если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы ее так, как начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня — органическая необходимость.

Тюрьма сделала только то, что наше дело стало для меня чем-то ощутимым, реальным, как для матери ребенок, вскормленный ее плотью и кровью. Тюрьма лишила меня очень многого, не только обычных условий жизни, без которых человек становится самым несчастным из несчастных, но и самой способности пользоваться этими условиями, лишила способности к плодотворному умственному труду... Столько лет тюрьмы, в большинстве случаев в одиночном заключении, не могли пройти безнаказанно. Но когда я в своем сознании, в своей душе взвешиваю, что тюрьма у меня

отняла и что она мне дала, то хотя я и не могу сказать, что объективно перевесило бы в глазах постороннего наблюдателя, но я не проклинаю ни своей судьбы, ни многих лет тюрьмы, так как знаю, что это нужно для того, чтобы разрушить другую огромную тюрьму, которая находится за стенами этого ужасного павильона. Это не праздное умствование, не холодный расчет, а результат непреодолимого стремления к свободе, к полной жизни. Там теперь товарищи и друзья пьют за наше здоровье, а я здесь один в камере думаю о них: пусть живут, пусть куют оружие и будут достойны того дела, за которое ведется борьба.

Сегодня мне сообщили, что мое дело будет слушаться через четыре недели — 15 (28) января 1909 года. Теперь уже каторги не миновать, и тогда придется здесь сидеть 4—6 лет. Брр... Это мне не очень улыбается. Со вчерашнего дня я вновь сижу один. Моего товарища, по его же просьбе, перевели в другую камеру, во 2-й коридор, поближе к его сопроцессникам, от которых он желает узнать новые данные, относящиеся к его делу. Он все время волновался. От волнения не был в состоянии ни читать, ни что-либо делать; все метался по камере и ждал, прислушиваясь к малейшему шороху в коридоре. Каждый стук двери из канцелярии, когда кто-нибудь шел оттуда, возбуждал его, привлекал его внимание, а потом раздражал. Одни и те же мысли толпились в голове — мысли почти без всякого содержания, и отогнать их было немыслимо.

Это бывает здесь почти со всеми. Иной раз даже необъяснимо, чем вызвано такое беспокойное ожидание чего-то, крайне неприятное, напоминающее ожидание поезда где-нибудь в деревне осенью, когда холодно, сыро и дождливо. Но здесь это состояние значительно тяжелее. Бегаешь из угла в угол, время от времени делаешь попытку прочитать что-нибудь, но ни одно слово не доходит до сознания, и бросаешь книгу и вновь начинаешь бегать по камере, прислушиваясь к хлопанию дверьми, и все в глубине души надеешься, что вот-вот явятся к тебе и сообщат что-нибудь очень важное. Это бывает обыкновенно в дни свиданий, или

когда человек ждет книг, или когда должен прийти заведующий, или еще что-нибудь в этом роде. В таких случаях, хотя это ожидание тоже крайне тяжело и напряжение вовсе не отвечает ожидаемым результатам, все же есть определенная цель, что делает состояние менее тяжелым. Ожидание же без всякого повода по временам становится ужасным.

С того времени, когда я в последний раз писал этот дневник, здесь было казнено пять человек. Вечером между 4 и 6 часами их перевели в камеру № 29, под нами, и ночью между 12 и 1 часом повезли на казнь.

Вот уже несколько дней из 2-го коридора доносится пение Марчевской. Теперь оно меня раздражает. Она сидит в двадцатом номере. Повидимому, ее перевели туда в связи с устраиваемыми ею скандалами.

Опять говорят о вновь разоблаченном провокаторе из ППС. Он сидит здесь уже давно. Арестован в феврале 1907 года. Это некто Ром, безусый мальчишка.

Заключенные возмущены Ватерлосом. Из-за его неосторожности арестован солдат Лобанов. Он переписывался с ним, не сжигал писем, и они были найдены в его камере во время обыска. Он сидит в камере № 50 один и опять в кандалах.

18 февраля 1909 года

Зимний, солнечный, тихий день. На прогулке чудесно, камера залита солнечным светом. А в душе узника творится ужасное...

Недавно я разговорился с солдатом. На вид печальный, удрученный, он караулил нас. Я спросил его, что с ним. Он ответил, что дома хлеба нет, что казаки в его деревне засекли розгами нескольких мужчин и женщин, что там творятся ужасы. В другой раз он как-то сказал: «Мы здесь страдаем, а дома сидят голодные». Вся Россия «сидит голодная», во всем государстве раздается свист розог. Стоны всей России проникают и сюда, за тюремные решетки, заглушая стоны тюрьмы. И эти оплеванные, избиваемые караулят нас, пряча глубоко в душе ужасную ненависть, и ведут на казнь тех, кто их же защищает. Каждый боится за себя и покорно тащит ярмо.

Подо мной уже несколько дней сидят два человека. Они ожидают казни. Не перестукиваются, сидят тихо. В прошлом месяце в числе других было казнено два человека по обвинению в убийстве помощника генерал-губернатора Маркграфского. Оба казнены без всякой вины. Один из карауливших нас жандармов арестован, а шесть жандармов переведены отсюда на другую службу. Солдат Лобанов приговорен к арестантским ротам на два с половиной года за то, что передавал по назначению письма заключенных. Почти все служители-солдаты, как ненадежные, заменены новыми. На месте казни установлены постоянные, а не временные виселицы.

Обреченных ведут уже отсюда со связанными ремнем руками. Вешают одновременно до трех приговоренных. Когда их больше, вешают троих, остальные тут же ожидают своей очереди и смотрят на казнь товарищей.

Уже больше 11 часов вечера. Под нами в камере, обыкновенно тихой, в камере смертников, слышны громкие разговоры; слов не слышно, к нам проникают лишь отрывочные звуки; за стенкой, на лестнице, необыкновенное движение, какое бывает в дни казней. Двери канцелярии скрипят, то и дело кто-нибудь заходит к приговоренным...

Их уже взяли. Под окном прошли солдаты... Повели на место казни двоих осужденных.

4 марта

25 февраля опять повесили пятерых из 16 осужденных членов боевых дружин ППС. Одному из осужденных сказали на следующий же день после суда, что ему не заменили смертного приговора. Суд происходил 22-го; 25 должны были их казнить, но его не взяли вместе с другими, и только несколько дней спустя приехал к нему защитник и сообщил, что ему заменили смертную казнь 10 годами каторги.

Сидит здесь некто Г. Его приговорили к смертной казни, но заменили ее 10 годами каторги. Он не хотел верить. Когда родители приехали к нему на свидание, он отказался выйти из камеры, думая, что его хотят

перевести в камеру смертников. По просьбе родителей его силой привели к ним.

Сидят здесь пять умалишенных. Один из них, буйный, сидит давно в совершенно пустой камере. Окна выбиты, вместо стекол — солома, по ночам он сидит без лампы. Крики отчаяния, бешенства, стоны, удары в двери, в стену. Его заковали в ручные кандалы, он их разбил.

Два дня тому назад умер Аветисянц. Он сидел здесь с 1905 года, и до окончания его заключения оставался только один месяц.

8 марта

Уже неделя, как я опять сижу один. До этого я в течение двух недель сидел с офицером Б. и неделю с офицером Калининым. Б. явился ко мне неожиданно, и я очень обрадовался этому. Он словно с неба упал: вечером с шумом открылась дверь, его как бы втолкнули в мою камеру, и дверь с шумом захлопнулась. За несколько дней до суда офицеров вызвали в канцелярию, велели им показать, что у них в карманах, а в их камере, где они сидят все вместе, произвели обыск. Это было сделано по распоряжению генерала Утгофа, и специально для этой цели были присланы два ротмистра. Обыск был произведен весьма поверхностно. Взяли наугад несколько записок, после чего допросили офицеров и подвергли обследованию взятые при обыске записки. Повидимому, вся эта шумиха была подготовлена со специальной целью внушить судьям представление об этих офицерах, как об опаснейших людях. После суда кто-то говорил, что этот обыск повлиял на приговор, несмотря на то, что ничего компрометирующего не было найдено. Это «дело» уже до суда было раздуто. Суд продолжался пять дней. Подсудимых было 36: 5 офицеров, 29 солдат и 2 ученика из Бялой. Один офицер, освобожденный под залог, на суд по болезни не явился. Все обвинялись в принадлежности к беспартийной Военно-революционной организации и к Всероссийскому офицерскому союзу (§ 102, часть первая).

Председательствовал на суде Уверский, самый кро-

вожадный из всех судей. О нем здесь рассказывают, что когда для него становится очевидным, что подсудимый может отвертеться от виселицы, он сразу становится грубым, недоступным, настроение его становится бешеным, и наоборот, когда он видит, что это подсудимому не удастся, он потирает от удовольствия руки, вежливо разговаривает с адвокатом, его настроение становится розовым. Обвинял Абдулов. Следствие вел Вонсяцкий — в настоящее время начальник радомского губернского жандармского управления, мерзавец, известный своей деятельностью в Варшаве и в Латвии. Обещаниями, подкрепляемыми честным словом, что он их освободит, угрозами, постоянными допросами он добился того, что почти все обвиняемые сознались, что ходили на собрания, и засыпали офицера Калинина, солдата Панькова и других солдат. Он добился и того, что Калинин и Паньков тоже сознались и рассказали о себе то, о чем жандармы не знали и что весьма сильно повлияло на приговор. На офицеров он действовал уверениями, что солдаты сидят по их вине и что если они сознаются, то он сможет освободить солдат. Самым важным свидетелем был Гогман — шпион, о котором я уже упоминал. Он показывал все, что ему приказывал Вонсяцкий, утверждая при этом, что это было сказано ему подсудимым. На самом суде обнаружилось, к каким гнусным приемам прибегал Вонсяцкий. Он сам составил подложное письмо, якобы написанное Калининым, и велел арестованному денщику Калинина отвезти это письмо в Люблин какому-то адвокату, бывшему когда-то офицером, и сказать, что это письмо Калинина и что он, его денщик, был тоже арестован, но его освободили, и он просит, чтобы адвокат принял на себя защиту Калинина. Адвокат вытолкнул за дверь денщика-шпиона. Дальше установлено, что Краковецкому подбросили нелегальную литературу Военно-революционной организации социал-демократов. Она фигурировала во время следствия, как найденная у него, между тем в протоколе произведенного у него обыска значилось, что «ничего подозрительного не найдено». Все дело возникло по показаниям двух солдат (Сте-

пана Кафтынева и Ивана Сержантова), использованных властью в качестве провокаторов. Их показания были продиктованы Вонсяцким. Сами они на суд не явились. В вызове свидетелей защиты было отказано. На суде все время присутствовал Вонсяцкий, беседовавший с судьями во время перерывов.

Обвинение Краковецкого базировалось на показаниях Гогмана и поручика 14-го Олонецкого пехотного полка Александра Бочарова и на подброшенной ему литературе. Бочаров на суде взял обратно свои показания. Это был трагический момент. Он заявил, что не Краковецкий, а он сам принадлежал (теперь он уже не принадлежит) к Военно-революционной организации социал-демократов, что он под угрозой Вонсяцкого арестовать его и закатать на каторгу дал ложное показание и написал все то, что ему велел Вонсяцкий. Уверский прервал его: «Ведь вы офицер!» Бочаров ничего не ответил и продолжал стоять с опущенной вниз головой. В зале суда было большое волнение. Вонсяцкий сорвался с места, пошептался с другими жандармами, выбежал из зала и поехал к коменданту. Несколько дней спустя Бочарову велено было подать в отставку. К Краковецкому же, хотя на суде не было никаких оснований для этого, применили высшую меру — 8 лет каторги. Вонсяцкий был убежден, что это единственный из всех обвиняемых — подлинный революционер, конспиратор, не оставляющий никаких следов своей деятельности. Этим был вызван такой строгий приговор.

Калинин и Паньков сознались в приписываемых им действиях и указали на то, что сидящие на скамье подсудимых солдаты взяты наугад, что с таким же основанием можно было арестовать целые отделения, в которых они служили, доказывали, что солдаты невиновны, что среди них не было никакой организации.

Один из солдат, Корель, — оратор божьей милостью, говорил плавно и содержательно в течение получаса о том, что вся его деятельность имела исключительно культурный характер. За это его приговорили к восьми годам каторги. Судьи недолюбливают солдат-ораторов.

Судей было трое: кроме генерала Уверского, два обыкновенных кадровых полковника; они в течение всех пяти дней сидели как болваны и не проронили ни единого слова.

Краковецкого и солдата Кореля приговорили к восьми годам каторги, офицеров Калинина и З., солдат Панькова, Исаева и Синицына к шести годам каждого, одного солдата-фельдшера к семи годам, 14 человек, в том числе 12 солдат, — на поселение, троим дали по одному году дисциплинарного батальона, одного офицера и девять солдат оправдали. Скалон смягчил приговор только Панькову и Синицыну — им дали ссылку. Суд применил к офицерам и солдатам § 273—274 устава военного судопроизводства и увеличил наказание всем, находящимся на действительной службе, на два года. Оказалось, что к офицерам, уже вышедшим в отставку, суд не имел права применять этой статьи (согласно соответствующему сенатскому разъяснению), но адвокаты спохватились слишком поздно, уже после утверждения приговора Скалоном. Они обжаловали приговор в Петербург. Панькову приговор был смягчен ввиду того, что он находился под влиянием Калинина.

Все дело было раздуто Вонсяцким со специальной целью добиться полковничьих погон, и в этом он успел. Собрали людей из разных местностей царства Польского (из Бялой, Кельц, Варшавы, Замброва). Люди эти не имели ничего общего друг с другом. Арестовали солдат, неизвестно почему именно этих, сгруппировали их вокруг неблагонадежных офицеров и создали огромное дело Военно-революционной организации офицеров и солдат, которая могла погубить самодержавие. Но вот появляется храбрейший рыцарь Вонсяцкий и искореняет крамолу: какой же похвалы и награды он достоин!

Моего товарища Б. освободили и вывели прямо за ворота цитадели. Там уже два дня его ожидали невеста и тетка, добрейшая женщина, собиравшаяся ехать с ним вместе в Сибирь. Я был уверен, что его оправдают. Его обвинили не в укрывательстве, а в принадлежности к организации исключительно на

основании писем его сестры к нему, из которых явствовало его возрастающее революционное настроение. Повидимому, его держали в тюрьме 14 месяцев исключительно для того, чтобы предоставить суду возможность вынести оправдательный приговор. «Наш военный суд беспристрастен, он не лакей охранки», — так когда-то говорил мне жандармский полковник Сушков. Несмотря на это, Б. возвращался после каждого судебного заседания или бодрый и полный надежды, или почти уверенный в том, что его засудят. В особенности после речи Абдулова он был уверен в последнем. Когда он вернулся уже после того, как суд вынес ему оправдательный приговор, он до того устал, что незаметно было, что это его радует. «Поздравьте меня», — сказал он вяло. А после зародилось опасение, что его так же долго будут в административном порядке держать в тюрьме, как держат других. Дело Горбунова, например, — чиновника охранки — прекращено, а он продолжает сидеть более месяца. Трое рабочих, оправданных 4 августа, продолжают сидеть, и имеется предположение, что их сошлют в Якутскую область. Я успокаивал его, убеждал, что его освободят, что охранка ничего против него не имеет, советовал ему, чтобы он потребовал от заведующего немедленного освобождения. Заведующий не вправе держать его после того, как им получено соответствующее уведомление из суда, но он не пожелал его освободить до получения распоряжения от Утгофа. В воскресенье Утгоф не принял его, в понедельник он вновь должен был быть у него в 2 часа, затем в 4 часа. Вахмистр, известный лжец-маниак, сообщил, что заведующий и сегодня не застал Утгофа. Вдруг неожиданно в половине шестого ему приказано было собрать вещи и итти. «В ратушу?» — «Нет, прямо за ворота». Это как гром обрушилось на него. Он не знал, что прежде всего хватать. Я почувствовал, как сжимается мое сердце. Что делать? Все мое спокойствие куда-то запропастилось. Я помог ему собрать вещи, после чего наступил момент тишины. Я уже радовался за него, а теперь опустела моя камера... Проклятые стены!.. Почему не я? Когда же я? «Алеша,

исполните мою просьбу, помните», — произнес я холодно... Он страстно обнял меня на прощанье.

Я люблю его. Он такой молодой, чистый, и все будущее перед ним открыто. Час спустя привели ко мне офицера Калинина. Он был со мной неделю...

Теперь я снова сижу один. Свиданий у меня нет уже три недели, писем — два месяца. Случилось ли что-нибудь? Что? Может быть, конфискуют письма и открытки, и я ничего не получаю. Создаешь в воображении ужасные картины. Все это могло случиться, и я ничего не знаю и ничего не могу знать. Четыре стены... Какой я чужой здесь, как противны эти стены! Неужели я не выйду отсюда сегодня целый день, и завтра, и послезавтра?! Ужасно. Рядом со мной сосед, и хочется простучать ему, что я его люблю, что не будь его здесь, я не мог бы жить, что даже через стену можно быть искренним и отдавать всего себя и не стыдиться этого. А те так далеко. Что им написать? Опять о своей тоске? Я всегда с ними, они знают об этом, а их память обо мне — мое счастье.

23 апреля

Весна. В камере светло, много солнца. Тепло. На прогулке ласкает мягкий воздух. На каштановых деревьях и на кустах сирени набухли почки, и уже пробились зеленые, улыбающиеся солнцу листья. Травка во дворе потянулась к солнцу и радостно поглощает воздух и солнечные лучи, возвращающие ее к жизни. Тихо... Весна не для нас. Мы в тюрьме. В камере двери постоянно закрыты: за ними и за окном вооруженные солдаты никогда не оставляют своих постов, и попрежнему каждые два часа слышно, как они сменяются, как стучат винтовки, слышны их слова при смене: «Под сдачу состоит пост номер первый», — попрежнему двери открывают жандармы, и попрежнему они выводят нас на прогулку. Как и раньше, слышно бряцанье кандалов и хлопанье открываемых и закрываемых дверей. За окнами с самого утра проходят отряды солдат, раздаются их песни, по временам доносится военная музыка.

27 апреля

Хочется отметить несколько фактов. Неделю тому назад в одном из коридоров, на печке в уборной, найден браунинг и несколько пуль. Приехал жандармский полковник Остафьев, созвал жандармов, угрожал им, упрекал, что они плохо наблюдают за нами, что поддерживают с нами сношения; грозил, что всех расстреляет, упечет на каторгу, закует в кандалы, за малейший пустяк будет отдавать под суд. Нескольким он надавал пощечин. Они не протестовали. Об этом они не хотят рассказывать нам. Им стыдно. Но они еще больше сближаются с нами. По этому поводу мне написал один из товарищей: «В связи с этим я вспомнил одно событие, о котором мне рассказывал очевидец. Вы слышали, должно быть, что в 1907 году в Фортах ужасно издевались над заключенными. Всякий раз, когда попадался до мерзости гадкий караул, заключенные переживали настоящие пытки. В числе других издевательств был отказ в течение целых часов вести в уборную. Люди ужасно мучились. Один из заключенных не мог вытерпеть, и когда он захотел вынести испражнения, заметивший это офицер начал его ругать, приказывал ему съесть то, что он выносил, бил его по лицу. Тогда тоже все молчали, ограничившись тем, что не позволили ему выйти из камеры одному и вышли с ним вместе, чтобы не дать его бить. Когда я возмущался, очевидец в ответ спросил: «А что было делать? Если мы сказали бы хоть одно слово, нас бы всех убили, выдавая это за бунт».

В 1907 году, когда я сидел в «Павиаке», солдат ударил одного заключенного, разговаривавшего во время прогулки с другим через окно. В это время по двору гуляли 40 человек. Один из них хотел было броситься на солдата, но другие оттащили его в сторону. Мы потребовали тогда замены этого солдата другим, тюремные власти тоже на этом настаивали, но караульный начальник не дал на это своего согласия и стал угрожать нам. Когда один из заключенных начал против этого протестовать, солдат замахнулся на него штыком, другие заключенные заслонили его от рассвирепевшего солдата, но все вынуждены были

уйти с прогулки. Когда вскоре после этого солдат убил выглянувшего в окно Гельвига, вызванный нами прокурор Набоков издевался над нами заявляя: «Вы ведете себя возмутительно. Следовало бы вас всех расстрелять». Возможны ли при таких условиях какие-либо протесты? Каждый такой протест может вызвать только резню. Каждый чувствует в такой атмосфере только свое бессилие и переносит унижения или в отчаянии бросается сломя голову, сознательно ища смерти.

Я сижу теперь с М., приговоренным к ссылке на поселение за принадлежность к социал-демократии. Он был арестован в декабре 1907 года в Сосновце. Он рассказал мне о следующем случае, очевидцем которого он являлся: в конце декабря приходят утром в тюрьму в Бендзине стражник с солдатом, вызывают в канцелярию одного из заключенных, некоего Страшака — прядильщика с фабрики Шена, внимательно осматривают его с ног до головы и, не говоря ни слова, уходят. После полудня является следователь, выстраивает в ряд шесть заключенных высокого роста, в том числе Страшака; приводят солдата, и следователь приказывает ему признать среди них предполагаемого участника покушения на шпика. Солдат указывает на Страшака. Этот Страшак — рабочий, ни в чем не был замешан, ни с какой партией не имел ничего общего. Солдат был тот самый, который приходил со стражником утром и предварительно подготовился к ответу. Заключенные подали жалобу прокурору. Тюремный стражник боялся, что ему попадет, но все же обещал заключенным подтвердить, что это тот самый солдат, который приходил утром. Впоследствии уже в Петрокове М. узнал, что Страшака повесили.

6 мая

Прошел день 1 мая. Празднования в этом году не было. А у нас ночью с 1-го на 2-е кого-то повесили. Была чудесная лунная ночь, я долго не мог уснуть. Мы не знали, что недавно был суд и что предстоит казнь. Вдруг в час ночи началось движение на лестнице, ведущей в канцелярию, какое обыкновенно бы-

вает в ночь казни. Пришли жандармы, кто-то из начальства, ксендз; потом за окном прошел отряд солдат, четко отбивая шаг... Всё как обыкновенно. Мой сокамерник спал, сосед — тоже. Я спросил жандарма, что это за движение. Он ответил, что это, должно быть, заведующий мечется по тюрьме. Я уже знал наверно, что предстоит казнь. Оказалось, что повесили рабочего-портного по имени Арнольд.

Так прошло у нас 1 мая. Это был день свиданий, и мы узнали, что в городе 1 мая не праздновали. Массам еще хуже: та же, что и прежде, серая, беспросветная жизнь, та же нужда, тот же труд, та же зависимость. Иначе быть не могло. Но такая мысль, такое сознание никого не может утешить, разве только тех, для кого вся борьба была лишь ареной случайных эффектных выступлений... Некоторые рекомендуют теперь приняться исключительно за легальную деятельность, то-есть на самом деле отречься от борьбы. Другие не могут перенести теперешнего положения и малодушно лишают себя жизни.

Но я отталкиваю мысль о самоубийстве, я хочу найти в себе силы пережить весь этот ад, благословлять то, что я разделяю страдания с другими; я хочу вернуться, бороться и понимать тех, кто в этом году не откликнулся на наши призывы.

Сегодня я снова один. Моего товарища утром увезли в пересыльную для отправки на поселение. Он почти мальчик, исключен из училища за школьный бойкот, с 1905 года его арестовывали три раза. В последний раз он просидел 17 месяцев, два месяца ему пришлось уже после суда ожидать отправки на поселение. Павильон теперь переполнен. Вчера был суд над 13-ю из Домбровского бассейна, обвиняемыми в принадлежности к ППС и в налетах. Три смертных приговора. Несколько дней тому назад привезли из Петрокова 14 человек, обвиняемых в том, что они знали и не донесли о готовившемся убийстве фабриканта Зильберштейна в Лодзи (по этому делу Казнаковым [1]

---

[1] **Казнаков** — лодзинский военный губернатор, известный своей жестокостью. — **Ред.**

расстреляны без суда восемь человек). Военный суд в Лодзи приговорил совершенно невиновных людей к каторге от 8 до 15 лет; теперь это же дело будет рассматриваться вторично. Все закованы, сидят с сентября 1907 года.

10 мая

Сегодня должны казнить двоих: Грабовского и Потасинского. Последний сидит под нами и еще ничего не знает, говорил только, что ему сегодня утром предложили прислать священника для исповеди. Он ни о чем не догадывается и просил, чтобы пришел защитник; он предполагает, что кассация отправлена в Петербург. Через час их возьмут. Час тому назад Френдзель узнала, что ей заменили четыре года каторги восемью месяцами тюрьмы и что трем ее сопроцессницам каторга заменена ссылкой на поселение. Она не знает, что сегодня будут вешать, и, обрадовавшись, смеялась и болтала в коридоре. Судили их в субботу, несколько дней тому назад, и приговорили всех четырех к четырем годам каторги за принадлежность к Левице ППС. Единственной виной Ф. было то, что она жила в одной квартире, хотя и в отдельной комнате, с Грицендлер, которая была сослана и бежала из Сибири. У последней была найдена нелегальная литература. Сегодня был суд не то над восемью, не то над девятью из Люблина; все, кроме одной женщины, приговорены к смертной казни.

2 июня

Среди наших жандармов вот уже несколько дней паника. Прошел слух, что на воле перехвачено письмо отсюда, в котором кто-то говорит о симпатиях, проявляемых к нам жандармами. Один из жандармов арестован; сюда прислан шпик из охранки в мундире жандармского вахмистра. Он следит специально за жандармами и ищет «виновных». Всем грозят судом за всякую мелочь; за продление прогулки заключенному угрожают арестом. Вахмистр-шпик все время шляется по X павильону, подсматривает, подсматривает.

С Ватерлосом опять какая-то история. Несколько дней тому назад он в окно показывал руки в наручнях. А две недели тому назад заведующий подглядывал в его камеру через «глазок» и заметил, что он спрятал за рукав письмо. Он позвал вахмистра и дежурного и приказал взять письмо. Ватерлос вырвался из их рук, прыгнул на кровать и проглотил письмо; вахмистр и дежурный бросились за ним на кровать, сжали ему горло, но письма им не удалось добыть. Теперь он сидит в этой же камере, изолированный от других заключенных, за ним установили строжайший надзор, по слухам, по распоряжению Утгофа, якобы ввиду того, что он строил планы побега. Лясковский заболел; он в течение всей недели ничего не брал в рот из опасения, чтобы его не отравили. Его перевели в больницу. Я опять сижу с другим. Теперь я уже не могу сидеть один, необходимо рассеивать неотвязные думы. Мой сокамерник рассказывает мне о своих охотничьих приключениях в Сибири; мы совместно строим планы, как будем бродяжничать пешком с граммофоном по деревням, лесам и горам Галиции [1]. Мы все возвращаемся к этому проекту, всякий раз прибавляя новые подробности, новые комбинации.

6 июня

Весна уже минула. Жара. В камере душно. До сих пор у нас не сняли с окон зимних рам; после долгих ходатайств обещают их снять только на этой неделе. Окна заколочены гвоздями. Форточки закрыты густой сеткой, чтобы даже спички нельзя было выбросить за окно. В камере не хватает воздуха. В течение нескольких дней прогулка продолжалась 20 минут, через несколько дней опять уменьшат прогулку до 15 минут, так как привезут много новых. Недавно увезли отсюда в Ломжу многих кандальщиков и всех приговоренных к ссылке на поселение. Френдзель и ее товарища перевели в «Сербию». Из старых жандармов остались очень

---

[1] В Галиции, находившейся за пределами царской монархии и входившей в состав Австро-Венгрии, политические эмигранты пользовались правом убежища. — Ред.

немногие. Их заменили новыми; на вид они трусы и черносотенцы. Они то и дело стучат крышками «глазков», подглядывая, что делается в камере. Жалобу Ватерлоса на то, что его избили, прокурор оставил «без последствий».

20 июня

Наши жандармы совершенно терроризированы. Вахмистр все время следит за ними и наблюдает, а вне службы он мучает их «учением» и упражнениями, так что у них нет теперь минуты свободной. Они боятся разговаривать с нами, потому что заведующий обещал солдатам, стоящим в коридоре на карауле, значительную награду, если они, заметив жандарма, разговаривающего с заключенным, донесут об этом. Арестованного жандарма продолжают держать в заключении. По слухам, охранка напала на след подготовляемого кем-то побега. Среди заключенных циркулируют различные предположения о возможных предателях среди самих заключенных...

Мы сидим теперь в камере № 11. В ней больше воздуха, из окна видна Висла, а вдали за крепостным валом — лес и небольшие холмы. Надо влезть на окно, чтобы это увидеть. Мы часто так влезаем, цепляемся за решетку и смотрим до тех пор, пока руки не затекут. Сняли у нас, наконец, зимние оконные рамы. Несмотря на обещание заведующего, приходилось в течение нескольких дней напоминать об этом. «Хорошо», — отвечали дежурные, уходили и запирали двери. И опять приходилось звать и опять: «Хорошо, скажу заведующему».

25 июня

Я получил следующее письмо от заключенного из Островца: «В мае 1908 года в Островец на должность начальника охранки Островецкого округа назначен капитан Александров, начальник земской стражи Груецкого уезда, известный инквизитор. Он начал свою деятельность очень ретиво и чуть ли не систематически каждые несколько дней арестовывал по нескольку человек. Это продолжалось до половины января этого года.

В это время он из числа арестованных и месяцами содержавшихся в тюрьме выловил провокатора Викентия Котвицу (агитатора ППС). Этот провокатор указал на Станишевского и Болеслава Люцинского, как на членов местного комитета ППС. Их арестовали и подвергли пытке. Александров живет на окраине города, и там же находится его канцелярия, а тюрьма находится в другом конце города. Когда стражники пришли в тюрьму за Станишевским, вызванным Александровым для допроса, они скрутили ему веревками руки назад. Один стражник держал конец веревки, другие окружили арестованного со всех сторон и всю дорогу с одного конца города до другого вели Станишевского на веревке, торопя его и подгоняя прикладами, кнутами и кулаками. Когда, наконец, он предстал перед Александровым, последний уговаривал его сознаться, что он член комитета, так как такое сознание повлияет на смягчение наказания. Когда же в ответ на это предложение Станишевский ответил молчанием, Александров приказал своей опричнине дать ему 25 ударов кнутом, предупредив, что, если он после 25 ударов не сознается, он прикажет довести число ударов до 250. Опричники набросились на Станишевского, намереваясь сорвать с него одежду. Станишевский не допустил этого, сам разделся и лег на пол. Два стражника хотели сесть один на ноги, другой на голову своей жертвы, но Станишевский сказал: «Если я пошевельнусь или крикну хоть один раз, можете нанести мне не 25, а 100 ударов...» Нагайка была пущена в ход... После пятого или шестого удара Александров приказал приостановить битье. Когда истязуемый оделся, ему было вновь предложено сознаться; в ответ на его молчание стражникам было приказано «поиграть с ним в жмурки». «Игра» эта состоит в следующем: стражники становятся в круг, в средину вталкивают истязуемого и кулаками бросают его от одного к другому. Когда и это испытание не привело к цели, Александров устроил ему очную ставку с свидетелем Котвицей. Последний заявил: «Чего вы отпираетесь, я же голосовал за вас».

После того как арестовали Люцинского, Александров пытал его таким же образом. Люцинский признал,

что он был членом местного комитета. Увидев, что Люцинский представляет податливый материал, Александров применил другую тактику. Он выразил сострадание Люцинскому, говоря, что тот страдает без всякой вины, но он, Александров, укажет ему путь к спасению: желая избавиться от наказания за несовершенное преступление, он должен выдать тех людей, которые вовлекли его в партию. Если он это сделает, его простят, и он будет освобожден. Люцинский полностью пошел на это и начал предавать. При помощи его и Котвицы выловили всех, не успевших скрыться. Многих вернули из ссылки и даже с военной службы и арестовали за давние грехи. Кроме издевательств над Станишевским и Люцинским, было следующее: привезли вместе с нами в X павильон молодого парня Щесняка (за ним 11 дел, ему могут вынести смертный приговор). Его выдал Котвица. И Щесняк не пожелал сознаться в приписываемых ему преступлениях. Так как жена Александрова не могла вынести крика истязуемого, его в 10—11 часов вечера отвели за город в поле, там раздели и избили до потери сознания. После этого его в бессознательном состоянии оттащили в карцер и бросили на пол. На следующий день его опять привели к Александрову. Он продолжал отпираться, вечером истязание повторилось. Так поступали с очень многими. Член местного комитета А., подвергнутый такому истязанию, пытался разбить голову о стену, но только поранил себя. Его избили за это и надели на руки кандалы, в которых он просидел целых три недели».

Вчера вечером повешен Вульчинский. Он вместе с другим сидел напротив нас. Молодой, красивый парень. Мы его видели в дверную щель. Он вышел спокойный, спросил, взять ли вещи, и, не попрощавшись с товарищем, в 9 часов вечера перешел в камеру смертников, а около часу ночи мы услышали шаги проходивших солдат.

26 июня

В 1-м коридоре сидит некто Ш. Он был арестован пять месяцев назад в Гамбурге в связи с найденными у него анархистскими брошюрами. Там не пожелали

предать его суду и переслали в Берлин для отправки на границу России. Его ходатайство о высылке в Австрию было оставлено без последствий. Он был отправлен в Россию как русский подданный (он уроженец Влоцлавка). Несмотря на то, что он не хотел брать с собою ни брошюр, ни двух браунингов, все это уложили и отправили вместе с ним. На таможне в Вержболове немецкий полицейский агент сообщил о браунингах русским властям. Он сидит здесь, хотя никакого дела за ним нет. Его держат, по слухам, потому, что два жандарма спорят друг с другом: один требует, чтобы его выслали обратно за границу, другой предлагает отправить его вглубь России. Кац, которого год тому назад выслали из Германии, сидит здесь до сих пор. Никакого дела за ним нет, его думают сослать в административном порядке. Под нами сидит некий Брозых, рабочий из предместья Варшавы Воля, арестованный 30 октября в Вене, тоже выданный России. В 4-м коридоре сидит пристав второго участка города Лодзи, обвиняемый в принадлежности к ППС, в том, что освобождал политических и что, будучи там помощником пристава, участвовал в убийстве стражника в Островце.

Сегодня пришел к моему сокамернику судебный следователь. Следствие по его делу (обвинение в убийстве шпиона Козеры) окончено. Повидимому, только он один будет судиться по этому делу, в отношении же других дело будет прекращено. Шпики утверждают, что видели его за несколько минут до убийства вместе с убитым. Они бессовестно лгут, но он не в состоянии установить своего «алиби» в момент убийства; власти же хвастают, что нет ни убийства, ни нападения, которого бы они не раскрыли. Так именно написал в своем рапорте радомский губернатор. Поэтому кто-нибудь должен быть осужден, и виновными должны быть те, кто попался в их руки.

1 июля

В дополнение к ранее сообщенным сведениям мой сосед написал мне фамилии стражников Александрова: Пригодич (вахмистр), Аксенов, Лукашук, Якимчук и

Фрейман (писарь в канцелярии). Штатские агенты охранки, получающие 30 рублей в месяц жалованья и почти 10 рублей постоянных доходов: Викентий Котвица и Болеслав Люцинский. Котвица, арестованный 16 августа 1908 года, обвинявшийся в принадлежности к ППС в качестве агитатора, был якобы освобожден на поруки 30 апреля и в этот же день поступил в охранку. Люцинский, арестованный 30 января 1909 года, обвинялся в принадлежности к ППС в качестве члена местного Островецкого комитета, освобожден 11 мая и в тот же день поступил в охранку. Что касается жертв, то вот несколько данных. Станислав Романовский, арестованный весной 1908 года; он был связан веревкой и отведен в охранку; вечером в 9—10 часов его за городом в поле подвергли побоям, настойчиво требуя, чтобы он сознался в приписываемых ему деяниях. Когда избиение не дало результатов, его привязали к дереву и, отходя на десять-двадцать шагов, целились в него из браунинга, пугая, что, если он не сознается, его тут же расстреляют. Но и этим они ничего не добились, и Романовского отправили в Сандомирскую тюрьму, где он находится и теперь.

Орловского, арестованного в конце ноября 1908 года, тоже отводили за город и подвергали избиениям за отказ признать себя виновным в приписываемых ему деяниях. На следующий день его вызвали на допрос, но и на этот раз охранка не добилась желаемых результатов. После этого вечером было повторено то же, что и накануне, и Орловского довели до такого состояния, что он уже не мог двигаться. Стражники принесли его на руках в тюрьму и бросили в камеру. После этих побоев Орловский пригласил островецкого городского врача. Я не знаю, что сказал врач и был ли составлен протокол. Несколько дней спустя арестное помещение посетил прокурор радомского окружного суда, к которому Орловский обратился с жалобой. Прокурор не дал никакого ответа, ограничившись лишь тем, что осмотрел Орловского. Но он, повидимому, повлиял на Александрова, так как с этого времени допрашиваемых перестали водить за город. Орловский теперь сидит в Сандомирской тюрьме.

Пайонк, арестованный осенью 1908 года, обвинялся в убийстве эконома Хохульского в имении Нетулиско. Обстоятельства этого дела следующие. Мать Пайонка, батрачка, зашла за ботвой на свекловичные гряды этого имения. Там Хохульский избил ее. Она крикнула ему: «Подожди, приедет мой сын из Америки, он тебе этого не простит!» Некоторое время спустя Пайонк приехал из Америки навестить мать, а через два-три дня после его приезда Хохульский был убит. Пайонка арестовали. Несколько раз его по вечерам водили за город, в поле; там стражники избивали его, а для того, чтобы крики не были слышны, бросали его лицом в песок. После этого Пайонк был Александровым освобожден.

Адамского, арестованного 9 марта 1909 года, связанного вели на веревке вечером в Ченстоцицы, где он жил и работал на сахарном заводе. Всю дорогу его стегали кнутом, избивали кулаками и требовали, чтобы он указал, где находится склад оружия. Он этого не сделал и не мог сделать, не зная ничего о складе. В настоящее время он сидит в Сандомире.

Станишевский сидит рядом с нами, его привезли три недели тому назад. Несмотря на наши уговоры, он отказывается подать жалобу. За эти несколько месяцев заключения он поседел и полысел. Несколько дней назад у него были судебный следователь из Островца Ржепинский вместе с товарищем радомского прокурора и мучили его допросом с 12 утра до $9^{1}/_{2}$ часов вечера.

11 июля

Снова доходят до нас сведения о смертных приговорах. По всей вероятности, сегодня вечером по влоцлавскому делу, слушавшемуся в течение 10 дней, будет опять вынесено более 10 смертных приговоров. Из 11 приговоров по люблинскому делу утверждено пять. Две недели тому назад, вместе с Вульчинским, повесили Сливинского. Конца-краю не видно смертным казням. Мы уже привыкли к такого рода сведениям. И продолжаем жить... Мысль уже не в состоянии охватить всего ужаса, чувствуется только какое-то беспокойство, какая-то тень ложится на душу, и безразличие ко все-

му овладевает человеком все глубже и глубже. Живешь потому, что физические силы еще не иссякли...

Во время казни ведется теперь подробный протокол, как вел себя обреченный, записываются его слова, отмечаются стоны и предсмертное хрипение. Делается это с «научной» целью.

16 июля

Привлеченных по люблинскому делу судили и казнили не здесь, а в Люблине. По влоцлавскому делу — шесть виселиц. Скалон уехал. Утгоф заменил всем виселицу каторгой. Рогов оставил следующее письмо: «Дорогие товарищи! Осталось всего несколько часов ожидания смерти среди дум и воспоминаний о прошлом, еще столь недалеком для меня, так как еще вчера была у меня надежда на возвращение к вам, на вступление снова в ваши ряды. Теперь я хочу эти последние минуты тоже отдать вам — вам и делу, которому я посвятил всю свою жизнь. Я боролся так, как умел, распространяя живое слово, и работал, как только мог. Товарищи! Я осужден за дела, чуждые мне [1], за дела, противником которых я был, в которых я не принимал ни малейшего участия. Но какое до этого дело правительству палачей и вешателей? Случилось то, что уже повторялось не раз, то, что встречается на каждом шагу в государственной жизни современной России. Преступление, преступление и преступление. А жертвой этих преступлений является пролетариат и самые сознательные его сыны. Настоящий момент — момент застоя в нашем движении, и в этот момент я хочу сказать вам несколько слов со своей теперешней трибуны — из камеры смертников: за работу, товарищи! Пора! Давно пора! Пусть совершаемые теперь преступления побудят вас усилить борьбу, которая не может прекратиться.

Товарищи! Все вы, отдыхающие после продолжительного и тяжелого труда, за границей и на родине, неужели вы и теперь будете оставаться пассивными?

---

[1] Рогов был осужден якобы за участие в террористическом акте. — Ред.

Нет! С этой верой я сойду в братскую могилу у крепостного вала. С горячей верой в наше будущее, с верой в нашу победу, с возгласом: «Да здравствует революция! Да здравствует социализм!» Прощайте все, все!»

Только это он и оставил! Убили невиновного. Фактически Козелкин совершил обычное для него убийство. Дважды опрошенный Скалоном, он всякий раз отвечал, что у суда не было ни малейшего сомнения относительно виновности Рогова.

В павильоне теперь настроение тихое, грустное, мертвое. Не слышно, как это раньше бывало, песен. Нет прежней оживленной переписки; мы не знаем даже, кто сидит в этом же коридоре. И люди другие. Многих увезли, есть новые, а старые успокоились, присмирели. Не колотят в двери...

Тихо у нас и грустно. Только в окно откуда-то с той стороны крепостного вала долетают до нас звуки отдельных выстрелов и залпов... Это солдаты упражняются в стрельбе из винтовок и орудий. И лишь накануне праздников и в праздники слышна военная музыка. Только на прогулке мы немного оживляемся. Мы с Варденем уж третий месяц сидим вдвоем. Нам обоим неплохо вместе. И тем не менее по временам что-то мутит и толкает сказать друг другу колкость, сделать что-нибудь назло, хотя мы и сжились друг с другом. По временам какое-нибудь слово, какая-нибудь шутка или хождение по камере, а то и само присутствие другого ужасно нервирует, и тогда какое-нибудь злое слово вдруг всплывает и готово сорваться. У нас еще хватает сил удержать его, не позволить ему появиться на свет, и мы подавляем его в зародыше. Быть может, помогает нам то, что мы не навязываемся друг другу, что каждый из нас может жить самим собою и не наблюдать за другим и что мы часто не чувствуем присутствия друг друга. Тяжело то, что в данное время судьба наша неодинакова: моя более легкая, есть надежда скорого освобождения, а у Варденя в перспективе каторга и продолжительное заключение, и он не может примириться с этим. Он одинок. Извне он ничего не получает. А это тяже-

ло. Товарищи, помните о заключенных! Каждое проявление внимания — это луч солнца и надежда на воскресение из мертвых.

17 июля

Оказывается, что Марчевская не принимала никакого участия в покушении на Скалона. Когда она сидела с Овчарек, она узнала подробности этого покушения и ложно созналась в участии в нем, желая, чтобы ее считали крупной революционеркой; она не опасалась попасть за это на виселицу, так как за ней числилось много бандитских дел, по которым ей нельзя было избавиться от веревки. Мы узнали об этом из бесспорно достоверного источника. Она прекрасно играла свою роль, и это ей полностью удалось. Бесспорной правдой оказалось и то, что она провалила освободивших ее членов организации в Прушкове. Здесь она заключенную Г., с которой некоторое время сидела вместе, выдала по какому-то делу на воле, по статье 279-й за налеты и «эксы» [1], и донесла, что Г. агитировала здесь жандармов. Она выдала также жандарма, якобы оказывавшего услуги заключенным.

20 июля

Прощальное письмо Пекарского («Рыдза»), казненного 4 июля: «Тяжело расставаться с жизнью, когда чувствуешь, что есть еще силы, чтобы служить делу, но если я на лотерее жизни уже вынул такой билет, — я согласен, ведь столько людей погибло ради нашего дела в этой борьбе. Никаких претензий ни за что и ни к кому я не имею. Пойду с верой, что когда-нибудь в нашей стране станет светлее, и тогда дух мой будет витать в обрадованных сердцах наших братьев. Прощайте все. Искренно желаю вам успеха в борьбе, победы... Будьте счастливы».

23 июля

Один из заключенных — рабочий, сидящий здесь около года, пишет мне, между прочим: «Сознаюсь

---

[1] «Эксы» — экспроприация казенных денег. — Ред.

вам, что после работы и после пережитого на свободе мне кажется, что только здесь я дышу полной грудью, и я чувствую себя счастливым, что у меня есть возможность собраться с мыслями и углубить необходимые знания, которые я черпаю здесь из книг. Меня это так занимает, что день кажется коротким, и, если бы не забота о семье, я бы с большим удовольствием просидел еще долго. Желая возместить то, чем нельзя было воспользоваться на воле, мы ложимся ежедневно очень поздно, когда уже начинает рассветать, а встаем в 7—8 часов утра. И то день кажется нам слишком коротким для беседы и раздумья о прошлом».

25 июля

В двух камерах, в том числе у Шапиро, открыли окна. В других камерах, которые выходят во двор, где происходит прогулка, все окна закрыты, об окнах в камерах на других коридорах я не знаю, но сомневаюсь, чтобы они были открыты. Два месяца тому назад я просил заведующего открыть окно. Он сказал, что в таком случае пришлось бы открыть окна у всех. Я ответил, что это правильно и что все согласятся дать обещание не «злоупотреблять». Он сказал, что не может этого сделать. А между тем он понимает, какое значение имеют открытые окна. Он сам говорил, что Аветисянц был силачом, когда его привели сюда, и делал гимнастику с тяжелыми гирями, которые другие поднимали с большим трудом.

Четыре дня тому назад зашел к нам дежурный и спросил, согласны ли мы сидеть втроем с товарищем, вышедшим из больницы и желающим сидеть вместе с Варденем. Мы согласились и просили его узнать у заведующего, не разрешит ли он открыть у нас окно. Но этого товарища к нам не привели, а посадили в одной камере с умалишенным, а окна у нас продолжают оставаться заколоченными. Вчера мы узнали, что дело М. и, как говорят, Варденя по обвинению в убийстве[1] прекращено. Варденъ относится к этому

[1] М. и Варденъ обвинялись в убийстве провокатора. — Ред.

с недоверием, беспокоится и обращается письменно к заведующему: «Не откажите уведомить меня» — и т. д. Прошло два дня, в ответ — ни единого слова. А ведь заведующий не плохой человек, любит поговорить и побалагурить с заключенными и не плохо обращается с ними; допускает и некоторые льготы. Но многим уже боком выходит его доброта.

Вот уже неделя, как Варденя перевели на ухудшенное питание на том основании, что он обвиняется в убийстве. (Он обвиняется и по § 102 [1], но это не в счет.) Еды так мало, что человек всегда голоден, если у него нет денег. Кормят немного лучше, чем, например, в «Павиаке», но дают значительно меньше. Для тех, у которых мало денег или их вовсе нет, это прямо ужасно. Ничем нельзя отогнать мысль о голоде. Заключенные по большей части целыми днями лежат сонные, раздраженные, склонные к ссорам... Мучаются ужасно. А наши вахмистры греют на этом руки. Прежний вахмистр, не плохой человек, не раз проявлявший заботливость о заключенных, все же, по слухам, за шесть лет службы успел скопить около 10 тысяч рублей. Теперешний вахмистр зимой спекулировал на угле. Топил раз в два дня, а то и реже. Теперь спекулирует на молоке. Курьезная история произошла с одним заключенным. Он покупал молоко на свои деньги. Оно оказалось разбавленным водой. Он вызвал интенданта... Интендант сказал, что молоко от коровы, принадлежащей вахмистру. Пришел вахмистр, обещал доставлять лучшее молоко, если об этом инциденте никому из нас не станет известно. Интендант — старичок, уже давно на этом посту. Говорят о нем, что он хороший и отзывчивый человек, но это не мешает ему наживаться на нашем питании и хватать где только можно. Офицер Калинин высчитал, что на каждом из получающих улучшенную пищу он зарабатывает до 11 копеек. К[алинину], как бывшему хозяину в своей батарее, цены известны.

---

[1] То-есть в принадлежности к партии. — Ред.

8 августа

Три месяца назад (8 мая) Судебной палатой мне вынесен приговор в окончательной форме. 9 июня приговор отправлен царю на утверждение, и только на-днях он прислан обратно из Петербурга. Возможно, что меня вышлют только через месяц. Во всяком случае, я уже скоро распрощаюсь с X павильоном. 16 месяцев я провел здесь, и теперь мне кажется странным, что я должен уехать отсюда, или, вернее, что меня увезут отсюда, из этого ужасного и печального дома. Сибирь, куда меня сошлют, представляется мне страной свободы, сказочным сном, желанной мечтой.

Наряду с этим во мне рождается тревога. Я уйду, а эта ужасная жизнь здесь будет продолжаться попрежнему. Странно это и непонятно. Не ужасы этого мрачного дома приковывают к нему, а чувство по отношению к товарищам, друзьям, незнакомым соседям — чужим и все же близким. Здесь мы почувствовали и осознали, как необходим человек человеку, чем является человек для человека. И если мы здесь тоскуем по цветам, то здесь же мы научились любить людей, как любим цветы. Именно здесь, где нет отчаянной борьбы за кусок хлеба, здесь, где всплывает на поверхность то, что там по необходимости было скрыто в глубине человеческой души. Здесь мы уяснили себе, что борьба, которая нас сюда привела, является также борьбой и за наше личное счастье, за освобождение от навязанного нам насилия, от тяготеющих над нами цепей! [1]

---

[1] Приговоренный к вечному поселению в Сибири, Ф. Э. был сослан в село Тасеевку Енисейской губернии, откуда спустя семь дней после прибытия бежал (в конце 1909 года) за границу. Здесь работал в качестве секретаря Главного правления СДПиЛ, наезжая в российскую часть Польши. В начале 1912 года переехал в Польшу на постоянную подпольную работу и вскоре был арестован. — Ред.



ПИСЬМА К РОДНЫМ
1898—1917 годы

А. Э. Булгак[1]
[Ковенская тюрьма] 25 (13) января 1898 г.

Дорогая Альдона!

Спасибо, что написала мне. Действительно, когда ты почти ничем не занят, когда ты совершенно оторван от жизни, от работы, то получать и писать письма может доставлять известное удовольствие. Ведь я постоянно нахожусь в своих «апартаментах», поэтому новых впечатлений, можно сказать, совсем нет, разнообразия в жизни не существует. Поэтому ценны для меня теперь письма, которые дают какие-нибудь новые впечатления. Но довольно об этом. Ты называешь меня «беднягой», — крепко ошибаешься. Правда, я не могу сказать про себя, что я доволен и счастлив, но это ничуть не потому, что я сижу в тюрьме. Я уверенно могу сказать, что я гораздо счастливее тех, кто на «воле» ведет бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось выбирать: тюрьма или жизнь на свободе без смысла, я избрал бы первое, иначе и существовать не стоило бы. Поэтому, хотя я и в тюрьме, но не унываю. Тюрьма тем хороша, что есть достаточно времени критически взглянуть на свое прошлое, а это принесет мне пользу... Тюрьма страшна лишь для тех, кто слаб духом...

---

[1] **Альдона Эдмундовна Булгак**—сестра Ф. Э. Дзержинского. — Ред.

По всей вероятности, мне придется еще один годик здесь пробыть, так что твоим желаниям насчет 1898 года не придется осуществиться.

...Не воображай, что тюрьма невыносима. Нет. Стась[1] так добр, что заботится обо мне; у меня есть книжки, я занимаюсь, изучаю немецкий язык и имею все необходимое даже в большем количестве, чем имел на воле...

Как здоровье твоего Рудольфика? Он должен был уже подрасти — ходит ли и говорит ли? Смотри, воспитывай его так, чтобы он ставил выше всего честность; такой человек во всех жизненных обстоятельствах чувствует себя счастливым! В этом я уверяю тебя. В одной книжке я прочел, что убаюкивание ребенка покачиванием влияет на него, подобно опиуму, и вредит как физическому, так и умственному и нравственному его развитию. Если заставлять ребенка спать, когда он не хочет, покачивая из стороны в сторону, то-есть искусственным способом, то это непосредственно влияет на мозг, а отсюда и на весь организм. Такой способ убаюкивания возник уже давно и не для пользы ребенка, а для удобства родителей. Для того чтобы не терять времени, мать пряла, а ногой качала ребенка. Это весьма и весьма вредно.

Ты спрашиваешь о моем здоровье — оно так себе. Глаза немного разгулялись.

Будьте все здоровы, веселы, довольны жизнью. Обнимаю всех троих.

Любящий брат Феликс

А. Э. Булгак
[Нолинск][2] 19(7) сентября 1898 г.

Дорогая Альдона!

Я обещал написать тотчас же после освобождения, но как-то все откладывал и только сейчас пишу вам... Освободили меня лишь 14 августа. Дорога была чрез-

---

[1] Станислав — брат Ф. Э. Дзержинского. — Ред.

[2] В 1898 году после года предварительного заключения Ф. Э. был выслан этапным порядком на три года в Вятскую губернию, в уездный город Нолинск. — Ред.

вычайно приятная, если считать приятными блох, клопов, вшей и т. п. Я больше сидел в тюрьмах, чем был в дороге. По Оке, Волге, Каме и Вятке я плыл пароходом. Чрезвычайно неудобная эта дорога. Заперли нас в так называемый «трюм», как сельдей в бочке.

Недостаток света, воздуха и вентиляции вызвал такую духоту, что, несмотря на наш костюм Адама, мы чувствовали себя, как в хорошей бане. Мы имели в достатке также и массу других удовольствий в этом же духе. Но хватит о них, не стоит об этом думать, так как выхода из этого при моем теперешнем положении я сам найти не могу. Освободили меня в Вятке, разрешили ехать за свой счет в уездный город Нолинск. В Вятке при строительстве железной дороги живет господин Завиша. Его знакомый одолжил мне 20 рублей и дал одежду, — все это надо оплатить. Всего 60 рублей. Я нахожусь теперь в Нолинске, где должен пробыть три года, если меня не возьмут в солдаты и не сошлют служить в Сибирь на китайскую границу, на реку Амур или еще куда-либо. Работу найти здесь почти невозможно, если не считать здешней махорочной фабрики, на которой можно заработать рублей семь в месяц. Население здесь едва достигает 5 тысяч жителей. Несколько ссыльных из Москвы и Питера — значит, есть с кем поболтать. Однако беда в том, что мне противна болтовня, а работать, работать так, чтобы чувствовать, что живешь, живешь не бесполезно, — здесь негде и не над кем. Стараюсь быть косвенно полезным, то-есть учусь. Имеется здесь немного книг. Есть земская библиотека. Знакомлюсь с деятельностью земств, которых у нас [1] нет еще до сих пор. Хожу гулять и забываю тюрьму, вернее — забыл уже ее, однако неволи не забываю, так как и теперь я не свободен. Но настанет время, когда буду на воле, а тогда, тогда они заплатят за все. Однако наскучил тебе, наверно...

Я писал это вчера вечером, то-есть 6 сентября. Сегодня прочел письмо и вижу, что ты будешь недо-

---

[1] То-есть в Польше. — Ред.

вольна, так как, собственно, я мало написал о том, как здесь устроился. Я нанял себе комнатку, столуюсь у одного ссыльного, но думаю от этого отказаться, ибо нужно ежедневно ходить к нему, а осенью здесь такая грязь, что, выражаясь гиперболически, можно утонуть... Жизнь здесь вообще сравнительно дешева. Но промышленные товары вследствие отдаленности от железной дороги почти вдвое дороже, чем у нас. Существует проект построить железную дорогу от Вятки через Нолинск в Казань, и, кажется, он скоро будет утвержден правительством. Пусть строят дороги, пусть эти дороги несут с собой развитие капитализма, пусть служат им на здоровье! Но вместе с дорогами проникнет сюда и клич свободы, как призрак, как бич, страшный для них, клич «света и хлеба!», а тогда — тогда померимся силами! В проведении железных дорог и в неизбежном в связи с этим развитии фабрик многие видят лишь отрицательную сторону. Они утверждают, что все это приводит исключительно к нужде большинства, централизует за счет крестьянских и ремесленных масс богатство в руках отдельных богачей и понижает жизненный уровень массы. Однако имеются две стороны медали: рост фабрик действительно способствует росту нужды (росту, так как она и без этого существует), но, с другой стороны, объединяет людей, что дает возможность рабочему бороться, придает ему силы и несет ему свет на смену забитости. Пусть же строят дороги, а дороги им необходимы, — пусть развивают эксплуатацию — и тем самым роют себе могилу! А мы, ссыльные, должны теперь набираться сил как физических, так и умственных и моральных, чтобы быть подготовленными, когда настанет время. Правда, мало кто завидует нашей участи, но мы, видя светлое будущее нашего дела, видя и сознавая его мощь, сознавая, что жизнь избрала нас борцами, мы, борясь за это лучшее будущее, никогда, никогда не сменили бы своего положения на мещанское прозябание. Нас меньше всего удручают всякие жизненные неприятности, так как жизнь наша состоит в работе для дела, стоящего превыше всех повседневных мелочей. Дело наше родилось недавно, но разви-

тие его будет беспредельным, оно бессмертно. Но зачем, спросишь ты, я пишу тебе все это? Не сердись, поток моих мыслей как-то невольно повернул в эту сторону. Когда я пишу кому-либо из нашей семьи, мне всегда приходит в голову мысль: почему пока только я один из нашей семьи вступил на этот путь? Как хорошо было бы, чтобы все! О, тогда ничто не мешало бы нам жить, как братья, даже больше и ближе, чем братья... А теперь до свидания, не сердись за мои мысли. Я откровенен, поэтому сердиться трудно.

Ваш Феликс

А. Э. Булгак
[Нолинск] 17(5) ноября 1898 г.

Вчера и позавчера получил твои письма. Вижу по ним, что ты мной очень недовольна, а проистекает это оттого, что ты совсем не понимаешь и не знаешь меня. Ты знала меня ребенком, подростком, но теперь, как мне кажется, я могу уже назвать себя взрослым, с установившимися взглядами человеком, и жизнь может меня лишь уничтожить, подобно тому, как буря валит столетние дубы, но никогда не изменит меня. Я не могу ни изменить себя, ни измениться. Мне уже невозможно вернуться назад. Условия жизни дали мне такое направление, что то течение, которое захватило меня, для того только выкинуло меня на некоторое время на безлюдный берег [1], чтобы затем с новой силой захватить меня и нести с собой все дальше и дальше, пока я до конца не изношусь в борьбе, то-есть пределом моей борьбы может быть лишь могила...

Однако вернусь к делу: я сказал, что ты не знаешь меня. Ты говоришь: «Вы не признаете семьи, чувство ваше сильнее ко всем вообще, нежели к отдельным людям, составляющим семьи». Итак, ты говоришь, что я не признаю семьи. О, ты глубоко ошибаешься. Я го-

---

[1] Ф. Э. имеет в виду свое заключение в тюрьму и ссылку. — **Ред.**

ворю лишь, что сегодняшняя форма семьи приносит почти исключительно плохие результаты. Почти для всех классов общества она приносит сегодня лишь страдания, а не облегчение, не радость. Прежде всего возьмем пример из жизни рабочего класса. Я знаю семью, — а таких тысячи, — в которой и отец и мать работают на табачной фабрике (здесь в Нолинске) с 6 часов утра до 8 часов вечера. Что могут получить дети от семьи, поставленной в такие условия? Питаются они плохо, надзора за ними нет; а как только подрастут, они нередко должны взяться за работу раньше, чем за букварь, чтобы прокормить самих себя. Скажи, что может дать им семья?

Беру другую общественную группу — крестьян: здесь семья еще отчасти сохранила почву под ногами, но чем дальше, тем последняя все больше ускользает. Большей частью крестьянин вынужден теперь искать побочных заработков, так как земля слишком часто не может его прокормить, и чем дальше, тем эти побочные заработки становятся все более важной частью его бюджета. Он должен помогать семье, поддерживать ее, а не она его; понятно, что при таких условиях и крестьянская семья должна постепенно разрушаться.

Перейду теперь к классу богатых. Здесь прежде всего бросается в глаза то, что семья возникает почти исключительно из коммерческих побуждений; во-вторых, распутная женщина в семье клеймится ужасным позором, в то время как распутник-мужчина — обычное явление. Мужчине у нас разрешается все, а женщине — ничего. Так разве можно считать примерными эти семьи, в которых женщине-рабыне противопоставляется деспот-мужчина, где коммерческие цели играют доминирующую роль? А каково может быть здесь отношение детей к родителям? Тут, правда, могут иметь место более теплые взаимоотношения, так как родители содержат своих детей, учат их, угождают им, дают средства к жизни; но нельзя сказать, чтобы их взгляды во всем сходились. Жизнь идет вперед, она изменяется, и особенно быстро теперь. Дети вырастают в совершенно иной атмосфере, чем вырастали их родители,

поэтому вырабатываются в них другие убеждения, идеи и т. д., и это является причиной антагонизма между отцами и детьми.

Теперешняя семья может удовлетворить и частично удовлетворяет лишь имущие классы. Поэтому-то они не могут и не хотят понимать критики сегодняшней семьи с точки зрения неимущих. Им ведь хорошо, и хорошо потому, что другим плохо: их семья может существовать, лишь уничтожая другие, а именно рабочие семьи.

Итак, видишь, Альдона, что я борюсь и боролся не против семьи вообще, а против теперешней ее формы. Жизнь разрушает семью, отнимает все ее положительные стороны и для подавляющего большинства человечества оставляет лишь отрицательные. Семья же зажиточных классов с ее проституцией противна. Не в самой семье дело, — меня интересует благосостояние эксплуатируемых классов, на котором зиждется семья, мораль, умственное развитие и т. д. Что же касается чувства, то могу сказать тебе: жизнь наша такова, что требует, чтобы мы преодолевали наши чувства и подчиняли их холодному рассудку. Жизнь не допускает сентиментов, и горе тому, кто не в силах побороть свои чувства. Ты говоришь, будто наши чувства относятся в большей мере ко всему человечеству, чем к каждому человеку в отдельности. Не верь никогда тому, будто это возможно. Говорящие так — лицемеры: они лишь обманывают себя и других. Нельзя питать чувства только ко всем вообще: все вообще — это абстракция, конкретной же является сумма отдельных людей. В действительности чувство может зародиться лишь по отношению к конкретному явлению и никогда — к абстракции. Человек только тогда может сочувствовать общественному несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретному несчастью каждого отдельного человека...

Наше общество сегодня так построено, что делится на разные классы, интересы которых прямо противоположны. Вследствие этого то, что для одного счастье, для другого несчастье. Возьмем пример: голод от неурожая. Для массы народа это несчастье. Некото-

рые же воспользуются этим несчастьем и набьют свои карманы деньгами (торговцы хлебом)... Или избыток рабочих рук. Для рабочих это несчастье, ибо он принуждает их итти на уступки и соглашаться на низкую заработную плату. Для господ, предпринимателей и помещиков это будет счастьем и т. д...

Я видел и вижу, что почти все рабочие страдают, и эти страдания находят во мне отклик, они принудили меня отбросить все, что было для меня помехой, и бороться вместе с рабочими за их освобождение...

Я слышал, что в Вильно были аресты по поводу памятника «вешателю»[1]. Напиши мне об этом все, что знаешь.

Целую вас четверых.

Феликс

А. Э. Булгак
[Село Кайгородское][2] 13(1) января 1899 г.

Дорогая Альдона!

...Я был (к моменту высылки из Нолинска. — Ред.) без гроша, вернее только с грошом в кармане, но не в нужде. Глаза у меня действительно болят[3], и я лечусь, ибо хочу жить, а без глаз жить нельзя.

Последнее твое письмо я получил в больнице — мне пришлось лечь на некоторое время, и я пролежал бы там, возможно, долго, если бы не случай, происшедший со мной недавно. До сих пор я жил в Нолин-

---

[1] Речь идет об арестах по поводу протеста против установления памятника царскому генерал-губернатору Муравьеву, зверски подавившему восстание 1863 года в Литве, за что он был прозван «вешателем». — Ред.

[2] В село Кайгородское Ф. Э. был выслан после четырехмесячного пребывания в Нолинске. В полицейских донесениях говорилось, что он проявил крайнюю неблагонадежность в политическом отношении и за короткое время успел «приобрести влияние на некоторых лиц, бывших доныне вполне благонадежными». Сам Ф. Э. писал об этом: «За строптивый характер и скандал с полицией, а также за то, что я стал работать набойщиком на махорочной фабрике, выслали за 400 верст дальше на север». — Ред.

[3] Ф. Э. в ссылке заболел трахомой. — Ред.

ске — в городе со сравнительно большим населением и не так отдаленном от остального мира. Однако нашему губернатору пришло в голову (вероятно, после сытного обеда и перед сладким послеобеденным сном), что жить мне здесь нехорошо. Не знаю, чем я вызвал такую заботливость по отношению к себе. Он перевел меня на 400 верст севернее, в леса и болота, в деревню, отдаленную на 250 верст от ближайшего уездного города. То же самое случилось и с одним моим товарищем. Хорошо, по крайней мере, что есть с кем поговорить. Село Кайгородское довольно большое, пятьдесят лет назад было городом, в нем 100 дворов и около 700 жителей-крестьян. Оно лежит на берегу реки Камы, на границе Пермской и Вологодской губерний. Кругом леса. Много здесь медведей, оленей, лосей, волков и различных птиц. Летом миллион комаров, невозможно ходить без сетки, а также открывать окна. Морозы доходят до 40°, жара летом достигает также 40°. Квартиру найти очень трудно, и стоит она дорого. Я живу вместе со вторым ссыльным. Белого хлеба здесь нет совсем. Мясо осеннее, замороженное. Жизнь не дешевле, чем в уездном городе, а, пожалуй, дороже. Сахар, чай, табак, спички, мука, крупа — все это дороже: дорого стоит перевозка. Мы здесь сами себе готовим обед; купили самовар. Хорошо здесь охотиться, можно даже кое-что заработать. Может быть, вскоре пришлют нам охотничьи ружья, тогда будем охотиться. Мы заказали себе лыжи. Купили крестьянские тулупы.

Недавно губернатор прислал мне 49 рублей 68 копеек, я не знаю, что это за деньги. Сначала думал, что их отпускает государство на мое содержание[1], и расписался, но я ошибся — их слишком много. Наверно, взяли у кого-либо из родных... Я совсем забыл, что нужно было вас предупредить. Мои письма будут, наверно, вскоре просматриваться местными властями. Хотели уже просматривать, но мы запугали их судом, так как делать это без циркуляра министерства внут-

---

[1] Административным ссыльным полагалось небольшое государственное пособие. — Ред.

ренних дел они не имеют права. Из-за этого мы и ведем борьбу со здешним волостным управлением — не хотят принимать наших писем.

Стась прислал денег, теперь мне хватает. Ну, кажется, я уже все написал. Еще: есть здесь в Кайгородском больница и врач, так что смело могу болеть и вливать в себя и на себя различные микстуры, порошки и т. д. Вообще чувствую себя теперь лучше. Врач обещал, что через $1^1/_2$ года я глаза вылечу.

Ваш Феликс

А. Э. Булгак
[Село Кайгородское] 13(1) марта 1899 г.

Два твоих письма я получил. Спасибо за присылку через губернатора 50 рублей, только не стоило этого делать. Теперь мои письма находятся под контролем, поэтому я не отвечал и писать буду очень редко. Несколько дней назад я вернулся из уездного города, куда я был вызван по поводу воинской повинности, но меня забраковали из-за легких навсегда. Лечиться здесь невозможно, хотя есть врач: сюда едут только молодые врачи и без практики; климат здесь сырой. Я написал заявление о переводе в другое место, но сомневаюсь, выйдет ли что-нибудь из этого. Работаю довольно много — занимаюсь, учусь. Как здоровье твоих мальчиков? Поцелуй их от меня и скажи Рудольфику, что благодаря нам его ждет лучшая судьба, что он сможет свободнее дышать, если захочет приложить силы к тому, чтобы одни не угнетали других и не жили за их счет, чтобы свергнуть золотого тельца, чтобы уничтожить продажность совести и ту темноту, в которую погружено человечество; тогда ему не придется уже скрываться со своей работой, как разбойнику, ибо никто не будет его преследовать. Если все это не найдет отклика в его душе, если он будет жить исключительно для себя и заботиться только о своем собственном благополучии, то горе ему... Не сердись, что я желаю ему того, что считаю высшим счастьем и что для меня свято...

Феликс

А. Э. Булгак
[X павильон Варшавской крепости] 21 (8) марта 1900 г.

Я чувствую себя довольно хорошо... Жизнь выработала во мне, если можно так сказать, фаталистические чувства. После совершившегося факта [1] я не вздыхаю и не заламываю рук. Отчаяние мне чуждо.

Летом в Кайгородском я весь отдался охоте. С утра до поздней ночи, то пешком, то на лодке, я преследовал дичь. Никакие препятствия меня не останавливали. Лесная чаща калечила мое тело. Я часами сидел по пояс в болоте, выслеживая лебедя. Комары и мошки, точно иголки, кололи мне лицо и руки; ночью, когда я ночевал над рекой, дым разъедал глаза. Холод охватывал все тело, и зуб на зуб не попадал, когда вечерами, по грудь в воде, мы ловили сетью рыбу или когда под осень я выслеживал в лесу медведя. Ты спросишь, что гнало меня из дому? Тоска по родине... по той, которая так врезалась в мою душу, что ничто не сможет вырвать ее, разве только вместе с самим сердцем.

Ты думаешь, может быть, что эта охотничья жизнь хоть сколько-нибудь меня успокоила? Ничуть! Тоска моя росла все сильнее и сильнее. Перед моими глазами проходили различные образы прошлого и еще более яркие картины будущего, а в себе я чувствовал ужасную пустоту, которая все возрастала... Я почти ни с кем не мог хладнокровно разговаривать... Эта жизнь в Кае отравляла меня... Я собрал свои последние силы — и бежал. Я жил недолго, но жил... [2]

Феликс Дзержинский

---

[1] То-есть второго ареста. — Ред.

[2] Этими словами Ф. Э. характеризует свою пятимесячную революционную деятельность в Варшаве в конце 1899 года и начале 1900 года после побега из Вятской ссылки. — Ред.

А. Э. Булгак

[Седлецкая тюрьма][1] 16(3) июля 1901 г.

Дорогая Альдона!

Хочу написать тебе пару слов, но, право, не знаю, что писать. Так монотонна моя жизнь, так недостает новых, свежих впечатлений, что впрямь мне не о чем думать, а пережевывать в мыслях все одно и то же — ужасно скучно! Писать о том, о чем хотел бы, не разрешают. Я прочел два твоих письма ко мне и вижу, что ты представляешь себе меня таким несчастным, каким я никогда не был и не являюсь. В материальном отношении мне даже слишком хорошо, а что касается того, что у меня нет ни свободы, ни книг, что я нахожусь в одиночном заключении и что мое человеческое достоинство как заключенного подвергается всевозможным оскорблениям... то помни, дорогая Альдона, что эти страдания тысячекратно окупаются тем моральным самосознанием, что я исполняю свой долг. Надо обладать этим самосознанием, чтобы понимать, что мы, заключенные, счастливее большинства тех, кто находится на свободе, ибо хотя тело наше заковано, душа наша свободна, а у них рабские души. Не думай, что это пустая фраза, красное словцо, отнюдь нет. Ты видишь, что после первого ареста и заключения я не отступил от своего долга, как я его понимал и понимаю. Но чтобы достигнуть поставленной цели, такие, как я, должны отказаться от всех личных благ, от жизни для себя ради жизни для дела. Я пишу тебе, дорогая Альдона, все это лишь для того, чтобы ты не считала меня «беднягой» и не писала мне об этом.

Ты хочешь знать, как я выгляжу. Постараюсь описать тебе как можно точнее: я так возмужал, что многие дают мне 26 лет, хотя у меня еще нет ни усов, ни бороды; выражение моего лица теперь обычно довольно угрюмое и проясняется лишь во время разговора, но когда я увлекаюсь и начинаю слишком горячо отстаивать свои взгляды, то выражение моих глаз ста-

[1] В Седлецкую тюрьму Ф. Э. был переведен из Варшавской цитадели. — Ред.

новится таким страшным для моих противников, что некоторые не могут смотреть мне в лицо; черты моего лица огрубели, так что теперь я скорее похож на рабочего, нежели на недавнего гимназиста, вообще я подурнел, на лбу у меня уже три глубокие морщины, хожу я, как и раньше, согнувшись, губы часто крепко сжаты, и к тому же я сильно изнервничался...

Ваш «Неисправимый»

А. Э. Булгак
[Седлецкая тюрьма] 21 (8) октября 1901 г.

Дорогая Альдона!

Пару дней назад я получил твое письмо. Меня очень радует, что наконец-то у вас предвидится получение работы. Я прекрасно понимаю ваше состояние — не иметь возможности найти себе места в жизни, имея таких прекрасных детей, обязывающих родителей работать для них...

Я намного моложе тебя, но думаю, что за свою короткую жизнь я впитал столько различных впечатлений, что любой старик мог бы этим похвастаться. И действительно, кто так живет, как я, тот долго жить не может. Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего. Я выпил из чаши жизни не только всю горечь, но и всю сладость, и если кто-либо мне скажет: посмотри на свои морщины на лбу, на свой истощенный организм, на свою теперешнюю жизнь, посмотри и пойми, что жизнь тебя изломала, то я ему отвечу: не жизнь меня, а я жизнь поломал, не она взяла все из меня, а я брал все от нее полной грудью и душой! Да! Ибо люди создали себе богатства, и эти богатства, эти мертвые предметы, созданные ими, приковали к себе своих творцов, так что люди живут для богатства, а не богатство существует для людей!

Дорогая Альдона! Далеко друг от друга разошлись наши пути, но память о дорогих и еще невинных днях моего детства, память о матери нашей — все это не-

вольно толкало и толкает меня не рвать нити, соединяющей нас, как бы она тонка ни была. Поэтому не сердись на меня за мои убеждения, в них нет места для ненависти к людям. Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня... люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь. Помни, что в душе таких людей, как я, есть святая искра... которая дает счастье даже на костре.

Только детей так жаль!.. Я встречал в жизни детей, маленьких, слабеньких детей с глазами и речью людей старых, — о, это ужасно! Нужда, отсутствие семейной теплоты, отсутствие матери, воспитание только на улице, в пивной превращают этих детей в мучеников, ибо они несут в своем молодом, маленьком тельце яд жизни, испорченность. Это ужасно!.. Я страстно люблю детей... Когда я думаю, что, с одной стороны, ужасающая нужда, а с другой — слишком большое богатство ведут к вырождению этих малышей... то я радуюсь за твоих деток, что вы не богачи, но и не бедняки, что они с детства узнают необходимость работать, чтобы жить, а значит, из них выйдут люди. Ведь дети — это будущее! Они должны быть сильны духом и сызмальства приучаться к жизни...

Когда выздоровеешь, обязательно пиши мне о своих детях: как они растут, каковы их способности, что их интересует, какие вопросы тебе задают, как ты их воспитываешь, даешь ли им много свободы или держишь в строгости, красивы ли они, с кем играют, много ли шумят и дерутся, — одним словом, когда только будет у тебя желание, пиши мне о них. Я так хотел бы узнать, как развиваются их невинные души, еще не знающие ни зла, ни добра.

Что касается меня, то я надеюсь, что не более как через два месяца буду, вероятно, выслан в Якутский округ Восточной Сибири. Здоровье мое так себе — легкие действительно начинают меня немного беспокоить. Настроение переменчиво: одиночество в тюремной камере наложило на меня свой отпечаток. Но силы духа у меня хватит еще на тысячу лет, а то и больше...

Я и теперь в тюрьме вижу, как горит неугасимое пламя: это пламя — мое сердце и сердца всех моих товарищей, терпящих здесь муки. О своем здоровье мне нечего самому заботиться, ибо это здесь — обязанность других. Кормят так, чтобы не умереть с голоду, на семь с половиной копеек в день, зато воды сколько угодно и даром — в деревянных бочонках...

Что касается денег, то они мне, вообще говоря, нужны, ибо «я» — это тысячи и миллионы. Чье же, однако, золото прокормит стольких? Такое чудо может совершить лишь сердце, охватывая миллионы своей любовью. Так не присылай мне никоим образом денег, — ты уже награждаешь меня от всего сердца тем, что не забываешь обо мне и пишешь мне свои теплые письма, хотя, наверное, многое не нравится тебе во мне...

Вероятно, вскоре ко мне придет на свидание моя знакомая из Вильно. Как видишь, живу, и люди не забывают обо мне, а поверь, что сидеть в тюрьме, имея золотые горы, но не имея любящих тебя людей, во сто крат хуже, чем сидеть без гроша, но знать, что там, на свободе, о тебе думают... Поэтому я так тебе благодарен за твои письма, за твое доброе сердце и память обо мне.

Ты мне писала о Ядвисе [1], что у нее «золотое сердце». Никогда не пиши мне так. Иметь золотое сердце — это значит не иметь живого сердца, а ведь только такое сердце может чувствовать и биться в такт с жизнью; золото же может быть символом только того, что смердит.

Целую тебя и твоих милых деток.

Твой Феликс

А. Э. и Г. А. Булгак [2]

[Седлецкая тюрьма]. Начало ноября 1901 г.

Дорогие Гедымин и Альдона!

Письма ваши и фотографии ребятишек я получил и сильно тронут вашей сердечностью. Но с некоторых пор в наши отношения вкралось недоразумение: от-

---

[1] Ядвига — сестра Ф. Э. — Ред.

[2] Г. А. Булгак — муж Альдоны Эдмундовны. — Ред.

кровенно говоря, мне стало неприятно, так как я понял, что вы считаете меня «возвратившейся заблудшей овечкой»; вы думаете, что теперь моя жизнь, мои мысли и действия станут на «правильный путь», что «зло» исчезнет теперь, что «бог будет бдеть надо мной»... Нет!!. Каким я был раньше, таким и остался; что раньше меня огорчало, то и теперь огорчает; что я раньше любил, то люблю и сейчас; что меня раньше радовало, то продолжает радовать и теперь; как я раньше действовал, так действую и теперь; как я раньше думал, так думаю и теперь; как раньше горе и испытания меня не миновали, так и впредь не минуют; путь мой остался все тот же; как раньше я ненавидел зло, так и теперь ненавижу; как и раньше, я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают свое тело или душу или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды... Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни... Зачем же вы говорите мне об изменении пути? Не пишите мне об этом никогда! Я хочу вас любить, ибо я вас люблю, а вы не хотите меня понять и искушаете, чтобы я свернул со своего пути, хотите, чтобы моя любовь к вам стала преступлением!..

Я хотел бы написать вам еще о могуществе любви, но это в другой раз, так как сегодня хочу вам ответить на ваши письма. Думаю, что острый тон моего письма не обидит вас, ибо где есть вера в свое дело, там и сила и резкость, а не размазня. Я думаю, что всякая фальшь — наихудшее зло, и лучше писать то, что искренне думаешь и что чувствуешь, хотя бы это и было неприятно, нежели писать приятную фальшь...

Что касается моих легких, то не так уж с ними плохо, как вы думаете. Я даже не кашляю, а что я чувствую тяжесть в груди, то ведь трудно, сидя в тюрьме почти два года, быть совершенно здоровым. Приговор я получу, может быть, через один-три месяца, но и якутские морозы мне не так страшны, как

холод эгоистических душ, поэтому я предпочитаю Сибирь рабству души. И я надеюсь, что, несмотря ни на что, я еще увижу вас и деток ваших. А если не удастся, то от этого голова у меня не болит, и у вас тоже болеть не должна. Жизнь длинна, а смерть коротка, так нечего ее бояться.

Теперь я хочу написать немного о детках ваших. Они так милы, как все дети; они невинны, когда совершают зло или добро; они поступают согласно своим желаниям, поступают так, как любят, как чувствуют, — в них нет еще фальши. Розга, чрезмерная строгость и слепая дисциплина — это проклятые учителя для детей. Розга и чрезмерная строгость учат их лицемерию и фальши, учат чувствовать и желать одно, а говорить и делать другое — из-за страха. Розга может только причинить им боль, и если душа их нежна, если боль эта будет заставлять их поступать иначе, чем они хотят, то розга превратит их со временем в рабов своей собственной слабости, ляжет на них тяжким камнем, который вечно будет давить на них и сделает из них людей бездушных, с продажной совестью, не способных перенести никакие страдания. И будущая их жизнь, полная гораздо более тяжких страданий, чем боль от розги, неизбежно превратится в постоянную борьбу между совестью и страданием, и совесть должна будет уступать. Посмотрите на себя самих, на окружающих вас людей, на их жизнь: она проходит в постоянной борьбе совести с жизнью, заставляющей человека поступать вопреки совести, и совесть чаще всего уступает. Почему это так? Потому что родители и воспитатели, развивая в своих детях совесть, обучая их тому, как они должны жить, указывая, что хорошо, а что плохо, не выращивают вместе с тем и не развивают в них душевной силы, необходимой для совершения добра; секут их розгами или шлепают их, кричат на них, наказывают разными способами; этим самым ослабляют силу этих будущих людей и сами противодействуют воспитанию совести в своих детях. Розга, чрезмерная строгость и телесные наказания никогда не могут желательным образом затронуть сердце и совесть ребенка, ибо для детских умов они всегда

останутся насилием со стороны более сильного и привьют либо упрямство, даже тогда, когда ребенок осознает, что он поступил плохо, либо убийственную трусость и фальшь... Исправить может только такое средство, которое заставит виновного осознать, что он поступил плохо, что надо жить и поступать иначе. Тогда он постарается не совершать больше зла; розга же действует лишь короткое время; когда дети подрастают и перестают бояться ее, вместе с ней исчезает и совесть, и дети становятся испорченными, лжецами, которых каждый встречный может толкнуть на путь испорченности, разврата, ибо розги, физического наказания они бояться не будут, а совесть их будет молчать. Розги и телесное наказание для ребят — это проклятие для человечества. Запугиванием можно вырастить в ребенке только низость, испорченность, лицемерие, подлую трусость, карьеризм. Страх не научит детей отличать добро от зла; кто боится боли, тот всегда поддастся злу. Альдона, ты помнишь, наверно, мое бешеное упрямство, когда я был ребенком? Только благодаря ему, а также благодаря тому, что меня не били, у меня есть сегодня силы бороться со злом, несмотря ни на что. Не бейте своих ребят. Пусть вас удержит от этого ваша любовь к ним, и помните, что хотя с розгой меньше забот при воспитании детей, когда они еще маленькие и беззащитные, но когда они подрастут, вы не дождетесь от них радости, любви, так как телесными наказаниями и чрезмерной строгостью вы искалечите их души. Ни разу нельзя их ударить, ибо ум и сердце ребенка настолько впечатлительны и восприимчивы, что даже всякая мелочь оставляет в них след. А если когда-либо случится, что из-за своего нетерпения, которое не сумеешь сдержать, из-за забот со столькими детьми или из-за раздражения ты накажешь их, крикнешь на них, ударишь, то непременно извинись потом перед ними, приласкай их, покажи им сейчас же, дай почувствовать их сердечкам твою материнскую любовь к ним, согрей их, дай им сама утешение в их боли и стыде, чтобы стереть все следы твоего раздражения, убийственного для них. Ведь мать воспитывает души своих маленьких детей,

а не наоборот; поэтому помни, что они не могут понять тебя, так как они еще дети, — следовательно, никогда нельзя раздражаться при них. Я помню сам, как меня раз шлепнула мама, будучи страшно измученной лежащей исключительно на ней заботой обо всех нас[1] и занятой по хозяйству; ни тебя, ни Ядвиси не было (кажется, вы тогда были уже в Вильно, хотя точно не помню); я что-то напроказничал, и в минуту раздражения мамы мне за это попало; я давай кричать вовсю и плакать от злости, а когда слез не хватило, я залез в угол под этажерку с цветами и не выходил оттуда, пока не стемнело; я отлично помню, как мама нашла меня там, прижала к себе крепко и так горячо и сердечно расцеловала, что я опять заплакал, но это уже были слезы спокойные, приятные и уже слезы не злости, как раньше, а счастья, радости и успокоения. Мне было тогда так хорошо! Потом я получил свежую булочку, из которых мама сушила сухари, и кусок сахара, и был очень счастлив. Не помню уже, сколько лет мне тогда было, может быть, шесть-семь, это было у нас в Дзержинове. Теперь ты видишь, дорогая, как любовь и наказание действуют на детскую душу. Любовь проникает в душу, делает ее сильной, доброй, отзывчивой, а страх, боль и стыд лишь уродуют ее. Любовь — творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого. Детвора не знает, не понимает, что хорошо и что плохо, надо ее учить различать это. Она не обладает еще сильной волей, поэтому надо прощать детям их шалости и не сердиться на них. Мало сказать только: «Делай так, а этого не делай», наказать, когда ребенок не слушается. Тогда лишь боль и страх являются его совестью, и он не сумеет в жизни отличать добро от зла. Ребенок умеет любить того, кто его любит... И его можно воспитывать только любовью. Видя, чувствуя любовь к себе родителей, ребенок постарается быть послушным, чтобы не огорчать их. А если он напроказит благодаря своей подвижности, своей детской живости, то сам будет жалеть о своем поступке. А когда

[1] В семье Дзержинских было восемь человек детей. — Ред.

с возрастом его сила воли окрепнет, когда он научится лучше владеть собой, тогда управлять им будет его собственная совесть, а не плохая среда, внешние жизненные условия и т. п., что так часто приводит к моральному падению. Ребенок воспринимает горе тех, кого любит. На его юную душу влияет малейшая, казалось бы, мелочь, поэтому надо остерегаться при детях быть самим безнравственными, раздражительными, ссориться, ругаться, сплетничать и, что всего хуже, поступать вразрез со своими словами; ребенок это заметит и если даже не запомнит, то все же в нем останется след, и из этих следов, из этих впечатлений детства сформируется фундамент его души, совести и моральной силы. Силу воли тоже надо воспитывать. Избалованные и изнеженные дети, любые прихоти которых удовлетворяются родителями, вырастают выродившимися, слабовольными эгоистами. Ибо любовь родителей не должна быть слепой... Удовлетворение всякого желания ребенка, постоянное пичкание ребят конфетами и другими лакомствами есть не что иное, как уродование души ребенка. И здесь нужна в качестве воспитателя та же разумная любовь, которая во сто крат сильнее слепой любви. Возьму пример: больной ребенок просит черного хлеба или здоровый — слишком много конфет, он плачет, кричит и, пока ему не дали желаемой вещи, не хочет слушать, что ему говорит мать. Скажите, чья любовь больше: той ли матери, которая даст и удовлетворит каприз ребенка, или же той, которая не даст? Успокоить опять надо лаской, а если это не поможет, то оставить ребенка, не наказывая его, пусть себе плачет; он устанет, немного успокоится, и тогда можно будет ему объяснить понятным для него языком, почему он не может получить того, что хочет, и что его плач огорчает маму и папу... Огромная задача стоит перед вами: воспитать и сформировать души ваших детей. Будьте зорки! Ибо вина или заслуга детей в огромной степени ложится на голову и совесть родителей. Мне хочется много еще написать о детях, но я не знаю, как вы примете эти мои советы, не найдете ли неуместным мое вмешательство в ваши дела. Во всяком

случае, будьте уверены, что я руководствуюсь здесь только любовью к вашим детям. Поцелуйте их сердечно от меня... Пусть растут здоровыми и веселыми, полными любви к своим родителям и к другим людям; пусть вырастут смелыми и сильными духом и телом; пусть никогда не торгуют своей совестью; пусть будут счастливее нас и дождутся торжества свободы, братства и любви. Я заканчиваю, так как устал...

Что касается силы моего духа, то без сомнения она довольно велика, но уже не так велика, как ты себе представляешь, дорогая Альдона. В письмах и в тюрьме я кажусь односторонним и очень сильным... но имею свои недостатки, которых узнать из писем нельзя... Я пишу это затем, чтобы ты не считала меня лучшим, чем я являюсь, ибо я ненавижу всякую фальшь и лицемерие.

Целую вас всех шестерых.

Ваш Феликс

А. Э. Булгак

[Седлецкая тюрьма] 17(4) декабря 1901 г.

Бедная моя, дорогая Альдона!

Только что получил твое печальное письмо о болезни Гедымина и почувствовал сильнее, чем когда-либо, как ты мне дорога. Твоя боль и печаль, твоя усталость и муки за будущее твоих малых ребяток, которым ты дала тело и душу, — это все заставляет меня чувствовать, что ты мне вдвойне сестра, ибо нас соединяет общая печаль.

Будь крепка духом. Дети твои не пропадут, они вырастут, и если у них будет мужественная душа, то они будут счастливы и в самые трудные минуты жизни. Дай им только эту душевную силу, воспитай ее — и всю жизнь они будут благодарить вас — своих родителей, давших им жизнь, даже если эта жизнь будет полна страданий. Ведь ты любишь детей своих и твоя материнская любовь успокаивает твои муки, и боль, и усталость. Будучи матерью, ты уже счастлива, а если дети твои тоже будут любить, если ты воспламенишь их сердца любовью, то и они будут

счастливы в жизни. Где есть любовь, там нет страдания, которое могло бы сломить человека. Настоящее несчастье — это эгоизм. Если любить только себя, то с приходом тяжелых жизненных испытаний человек проклинает свою судьбу и переживает страшные муки. А где есть любовь и забота о других, там нет отчаяния. Будь сильна, дорогая сестра! И если усталость одолеет тебя и ты усомнишься в своих силах, то вспомни о тех несчастных... которые мучаются во сто крат больше тебя, а их — миллионы! Вспомни и обо мне, который страдает и томится в далекой тайге Сибири и не проклинает своей судьбы, который любит то дело, за которое страдает, и который любит тебя. Я благословляю свою жизнь и чувствую в себе и нашу мать и все человечество. Они дали мне силы стойко переносить все страдания. Мама наша бессмертна в нас. Она дала мне душу, вложила в нее любовь, расширила мое сердце и поселилась в нем навсегда... Не печалься о будущем: счастье — это не жизнь без забот и печалей, счастье — это состояние души. Посмотри на тех барынь, которые даже не хотят кормить своих детей, которые не любят даже своего ребенка за его крик, за то, что он мал и неразумен! Посмотри, что является для них несчастьем: пусть перед балом вскочит прыщик у них на губе или на носу, и значит, невозможно пойти на бал, и они впадают в истерику. Вот их несчастья. Взгляни теперь на ту бедную мать, которая полюбила всем сердцем свое дитя: как она бывает счастлива, несмотря на всю нужду, когда ребенок прижмется к ней, улыбнется и прощебечет: «Ма-ма»; один этот миг вознаградит ее за миллион печалей, ибо ради таких минут живет человек.

Дорогая Альдона! Я не умею высказать тебе всех моих чувств; не думай, что это только одни рассуждения, слова, — нет, это не так, ибо мои убеждения о счастье в страданье непосредственно вытекают из моей жизни, из моих чувств. Это не голые рассуждения — я чувствую себя счастливым в страданье и хочу этим счастьем поделиться с тобой так же, как хочу тебе немного облегчить твой путь и взять на себя часть твоего бремени. Мне кажется, что для тебя об-

легчением должна быть мысль о том, что у тебя много близких людей, и я среди них, что я думаю о тебе и вместе с тобой люблю твоих детей и мучаюсь за них...

Я должен выехать уже через 3 недели — 5 января нового стиля, но это не наверно, может быть вышлют и через 5 недель, поэтому я постараюсь написать тебе еще прощальное письмо. Не приезжай только на свидание ко мне ни сюда, ни в Минск. Что может дать минутное свидание? Потом будет только еще тоскливее, а оставлять без ухода больного Гедымина и малых ребят было бы нехорошо, и мне это было бы неприятно. Поэтому не делай этого. Что же касается тулупа и валенок, то, может быть, это доставит вам слишком много хлопот, но если захочешь прислать их мне, то пришли сюда в Седлец; почтой не стоит — слишком дорого, можно их послать железной дорогой, а дубликат прислать на имя начальника тюрьмы. Однако ты слишком добра ко мне, ведь у тебя так много собственных забот, а ты и обо мне не забываешь. Посылаю тебе мою фотографию, снятую здесь пару месяцев назад, может быть, она заменит тебе свидание со мной, о котором даже не думай.

Обними и поцелуй от меня Гедымина, пусть и он будет мужествен!

Поцелуй своих дорогих ребят.

Будьте все здоровы.

Ваш Феликс

А. Э. Булгак

[Седлецкая тюрьма] 2 января 1902 г. (20 декабря 1901 г.)

Дорогие Альдона и Гедымин!

Спасибо вам за письма и вещи, которые вы мне прислали. Избалуете вы меня своей добротой и заботой, слишком добры ваши слова, и мне ужасно досадно, что я не могу быть вместе с вами и что мы не можем глубже узнать друг друга. Ведь уже столько лет мы не виделись, и каждый из нас сегодня уже не тот, что был вчера. Прошлое можно распознать и в настоящем, но как много нового должны были мы

набрать в себя за это время! Прошлое нас соединяет, но жизнь отделяет нас друг от друга все больше и больше... И все движется вперед: путем печали, страданий, путем борьбы совести, борьбы старого с новым, путем смертей, гибели отдельных жизней... и из этого всего вырастает чудесный цветок, цветок радости, счастья, света, тепла и прекрасной жизни. Я вижу его богатые, чудные краски, ощущаю его роскошное благоухание, охватывающее все мое существо, я чувствую уже исходящее от него тепло и вижу его сияющий блеск и бриллиантовую игру лучей. И когда я всматриваюсь в этот цветок, то чувствую — чувствую всей душой, а не только понимаю разумом, — что это богатство красок, это все оживляющее благоухание, это тепло, и свет, и сияние, все это — дети слез, страданий, печали и мук. Не часты минуты этих прекрасных видений, но они долго живут в моей памяти, я тоскую по ним, я жажду их возвращения, и они снова навещают меня. Отсюда я черпаю силы; поэтому-то я ни о чем не жалею, поэтому-то горечь разлуки с дорогими мне людьми — с вами и моими друзьями, не убивает, не отравляет меня. Поэтому также я думаю, что не стоит тебе, дорогая Альдона, приезжать ко мне на свидание. Глубокая печаль охватит и меня и тебя, нам трудно будет бороться с ней, и она будет жечь наши души. Представь себе 15-минутное свидание при людях, которые стерегут меня здесь, свидание после стольких лет разлуки, среди мрачных тюремных стен, решеток, замков, револьверов и шашек; мы не успеем еще и нескольких слов сказать друг другу, как нас уже разлучат, не дадут разговаривать. Нет, не приезжай, дорогая сестра, я и отсюда вижу тебя с ребятами и Гедымином, я чувствую ваши заботы, беспокойство, неприятности и радости, а вы ведь тоже ощущаете меня рядом с собой; я пересылаю вам в письмах свое сердце, чувствуете ли вы, как оно бьется? Я знаю, что чувствуете. Я знаю, что если даже тело мое и не вернется из Сибири, — я буду вечно жить, ибо я любил многих и многих... Не приезжай — не стоит без нужды увеличивать своих страданий. Я знаю это лучше всего из собственного опыта:

у меня здесь было несколько свиданий с одним очень дорогим мне человеком; больше уже не получу свиданий, и судьба разлучила нас на очень долго, может быть, навсегда. Вследствие этого мне пришлось очень много пережить... Поэтому еще раз прошу тебя не приезжай, да, кроме того, это неосуществимо, так как меня высылают, кажется, через два дня, а в Минске я буду лишь проездом, там меня задерживать не будут, повезут сразу в Москву и оттуда дальше на восток и север. Я постараюсь писать вам как можно чаще, и мои письма заменят вам меня, так же как и ваши письма заменят мне вас. Так не печалься, Альдона, что нам не удастся лично попрощаться.

В Польше праздники[1] уже прошли, но у вас они еще только будут... Желаю вам бодрости в жизни, уверенности в своих силах, мужества в страданиях, любви во взаимной жизни, надежды на будущее, желаю вам воспитать из ваших ребят полноценных людей, желаю дождаться плодов вашей тернистой жизни, полной труда и забот. В каких бы трудных условиях вам ни пришлось жить, не падайте духом, ибо вера в свои силы и желание жить для других — это огромная сила. Дорогой Гедымин, ведь твое здоровье идет на поправку, а от письма твоего веет такой грустью. Нет, надо верить в себя, надо жить, не поддаваться болезни, не думать о ней все время, тогда и победить ее легче. Я, кажется, писал вам в своем первом письме отсюда, что мой товарищ[2] был очень тяжело болен: больные легкие и неудачная операция ноги. Были минуты, когда я думал, что он уже не вылечится. И что же? Жажда жизни, могучее стремление к ней победили болезнь, и сегодня он на свободе и пишет мне, что здоровье его все улучшается, несмотря на нужду и безработицу. Он рабочий, а для рабочего безработица это значит — голод и холод. Будьте же крепки духом и бодры. Мы еще увидимся, и, может быть, я зайду к вам, и мы будем вспоминать о днях

---

[1] То-есть рождество и Новый год. — Ред.

[2] Ф. Э. имеет в виду молодого рабочего социал-демократа Антона Росола. — Ред.

нашего детства... Они кажутся мне теперь такими далекими, в воспоминаниях о них есть для меня что-то обаятельное, но сегодня я иду по своему пути, слегка грущу о детстве, но ради него не оставлю своего пути, ибо я уже вкусил от древа познания.

Меня радует, что уже через пару месяцев я буду вне тюрьмы, ибо тюремные стены так опротивели мне, что я не могу уже хладнокровно смотреть на них, на своих сторожей, на решетки и т. д. Я уверен, что если бы меня теперь совсем освободили и я приехал бы к вам, то вы назвали бы меня бирюком; я не сумел бы сказать вам свободно и несколько фраз; шум жизни мешал бы мне и раздражал бы меня. Поэтому тюремщики знают, что делают, высылая меня на 5 лет в Восточную Сибирь (в Якутский округ) и там освобождая меня: они имеют в виду лишь мое благополучие — нужно время, чтобы прийти в себя после двухгодичного погребения. Скачки вредны, надо все делать постепенно, поэтому сначала надо освоиться с медведями, болотами и тайгой, вообще с природой, потом с деревней, с местечком, затем с небольшим городом и только после всего этого — с родным краем. Я надеюсь, что дождусь этого конца. Мой путь продлится примерно два месяца, во всяком случае к весне я надеюсь быть на месте. Более точно о том, куда меня вышлют, я узнаю лишь в Иркутске, то-есть за 7 000 верст от Седлеца.

Еще раз спасибо вам за все, будьте здоровы, обнимаю и целую всех вас.

Любящий вас брат Феликс

А. Э. Булгак

[Александровская пересыльная тюрьма][1] 18(5) марта 1902 г.

Дорогие Альдона и Гедымин!

Я уже в Восточной Сибири, более чем за 6 тысяч

---

[1] Ф. Э. после почти двухлетнего заключения в Седлецкой тюрьме «по высочайшему повелению» был выслан на пять лет в Восточную Сибирь — в город Вилюйск (400 верст к северу от Якутска). По пути следования к месту ссылки Ф Э. был заклю-

верст от вас, от родного края, — но вместе со своими товарищами по заключению. Я еще не свободен, еще в тюрьме; жду весны, чтобы, когда вскроются реки, двинуться еще на 3—4 тысячи верст дальше на север. В Москве мне удалось только один раз увидеть Владыся и Игнася[1] и не имею даже понятия, что у них слышно, так как неожиданно нам не дали больше свиданий. Что же вам написать? Я тоскую по родной стране, — об этом вы знаете. Однако им не удалось вырвать из моей души ни мысли о нашем крае, ни дела, за которое я борюсь, ни веры в его торжество; этой верой и тоской я живу и здесь, мысли бегут к братьям моим[2] — и я вместе с ними. Конечно, бывают минуты тяжелые, ужасные, когда кажется, что боль разорвет тебе череп; однако лишь боль эта делает нас людьми, и мы видим солнце, хотя над нами и вокруг нас — тюремные решетки и стены. Но довольно об этом. Опишу вкратце свою жизнь. Я сижу в Александровской тюрьме в 60 верстах от Иркутска. Весь день камеры наши открыты, и мы можем гулять по сравнительно большому двору[3]; рядом — отгороженная забором женская тюрьма. У нас есть книги, и мы читаем немного, но больше разговариваем и шутим, подменяя настоящую жизнь пародией на нее — забавой. Письма и вести из родной страны — вот единственная наша радость. Я встретил здесь многих земляков, преступников не политических, которые так-

---

чен в Александровскую пересыльную тюрьму под Иркутском. С открытием навигации на реке Лене из Александровской тюрьмы Ф. Э. вместе с группой ссыльных был отправлен на специальных барках (паузках) в Якутск и дальше в Вилюйск. Но по пути, из Верхоленска, он бежал. — Ред.

[1] Владислав и Игнатий — братья Ф. Э. — Ред.

[2] Ф. Э. имеет в виду товарищей по партии. — Ред.

[3] Административные ссыльные не приравнивались в тюрьмах к заключенным подследственным или к ссыльнопоселенцам, приговоренным на вечное поселение в Сибири по судебному приговору. Они считались полусвободными. Но тогда, когда Ф. Э. был заключен в Александровскую тюрьму, эти «льготы» были внезапно отменены. В ответ на беззаконие местных властей ссыльные, содержавшиеся в Александровской тюрьме, устроили бунт, после чего снова были установлены старые порядки. — Ред.

же тоскуют по родном крае и семье, и которые в очень многих случаях попали сюда лишь вследствие произвола царской администрации. Я стараюсь изучить этих людей, их жизнь и преступления; узнать, что толкнуло их на совершение преступлений, чем они живут... Представьте себе, есть и такие, которые сидят здесь по 10 месяцев, ожидая лишь отправления в то место, где им должны выдать паспорта... Вообще, если об Европейской России много можно говорить и писать, то о Сибири лучше молчать — столько здесь подлости, что не хватит даже времени все перечислить. С постройкой железной дороги всевластие мелких пиявок понемногу уменьшается, но, как обычно, зло исчезает чрезвычайно медленно.

Дорога из Седлеца, длившаяся два месяца, чрезвычайно утомила меня. Из Самары я ехал 10 суток без остановки и без отдыха, теперь мне обязательно нужно немного поправить свое здоровье, так как оно не совсем в порядке. К счастью, наступили теперь теплые, солнечные, весенние дни, и воздух здесь горный и сухой — здоровый для слабых легких. А тюрьма меня не очень раздражает, так как стражника я вижу только один раз в день и весь день я среди товарищей на свежем воздухе.

Ваш Феликс

А. Э. Булгак
[Верхоленск] 22 мая (4 апреля) 1902 г.

Дорогая Альдона!

Вчера меня освободили в Верхоленске для того, чтобы я мог отдохнуть. Дорога слишком изнурила меня. Через месяц или два я поеду дальше, думаю, что к тому времени здоровье мое значительно улучшится, так как климат здесь довольно хороший. Вообще Сибирь влияет на легкие неплохо. Пишу открытку, так как что-то нет настроения много писать, не ругайте меня. Как ваше здоровье и здоровье ваших ребят? Получали ли вы какие-либо известия от братьев? Меня несколько удивляет, что, несмотря на обещание, ни Игнась, ни Владысь ни слова мне не пишут. Как

у вас с получением работы? В этом году у меня было очень много товарищей в дороге...

Будьте здоровы, сердечно обнимаю всех вас, поцелуйте от меня детей.

Ваш Фел[икс] [1]

А. Э. Булгак

[Лейзен, Швейцария] 26(13) августа 1902 г.

Дорогие Альдона и Гедымин!

Давно уж я не имел возможности побеседовать с вами. Теперь я на чужбине — в Швейцарии, высоко над землей, на вершине горы — $1^1/_3$ версты над уровнем моря. Сегодня облака на целый день окутали нас своей белой пеленой и сразу стало мрачно, серо, сыро, идет дождь и не знаешь откуда он: сверху или снизу. А обычно здесь так прекрасно и сухо! Кругом — снежные горы, зеленые долины, скалы, обрывы, деревушки. И все это беспрестанно меняет свои

---

[1] 25 (12) июня 1902 года Ф. Э. вдвоем с товарищем бежал из Верхоленска за границу. Этот побег Дзержинский описывал так: «Полночь пробило на церковной башне. Двое ссыльных погасили огни в своей избе и тайком, чтобы не разбудить хозяев, вылезли через окно во двор. Далекий и опасный путь стоял перед ними, им пришлось навсегда распрощаться с этими местностями, прекрасными, но пустынными, дышащими смертью, чуждостью, неволей. Ночью прокрадывались они возле хижин, внимательно наблюдая, нет ли кого-либо, не следят ли за ними. Кругом было тихо, деревня спала. Они нашли лодку, тихонько вошли в нее, чувствуя в себе силу и веру, что уйдут. Сердца их сжались от боли, когда они вспомнили, что в этой же деревне томятся их братья, скучают и выжидают сведений с поля борьбы, куда они, беглецы, сейчас спешат, несмотря на царские указы, охрану и постоянное наблюдение шпиков. Чувство это, однако, продолжалось только один момент. Им предстояло переплыть на другой берег быстрой и широкой Лены, не производя ни малейшего шума.

Сперло дыхание... Сердце сжалось от радости, что они уже плывут, что деревня быстро скрывается. И она вскоре совсем скрылась в темноте.

Крик радости вырвался из груди беглецов, измученных двухлетним пребыванием в тюрьме. Им хотелось обнять друг друга, громко, на весь мир, прокричать о своей радости, о том, что они, за пять минут до этого изгнанники, перестали ими быть, почувствовали себя по-настоящему свободными...» — Ред.

краски и свою форму в зависимости от освещения, и кажется, будто все, что можно охватить взглядом, живет и медленно движется. Облака охватывают горы кругом — то опускаются вниз, то снова поднимаются. Здесь хорошо, прекрасно, но какая-то тяжесть сдавливает грудь — воздух разрежен, и надо привыкнуть к нему; а взор везде встречает препятствие — здесь нет широкого горизонта, кругом горы, и кажется, что ты отрезан от жизни, отрезан от родины, от братьев[1], от всего мира. Есть здесь у меня друг, он лежит больной в санатории, и только это задерживает меня здесь. Я недавно приехал сюда — всего каких-нибудь несколько дней назад. А что слышно у вас? Может быть, нам удастся еще раз собраться всем вместе. Как ваше здоровье? А дети как? Подходит осень, им придется больше сидеть дома, даже скучать, а у тебя будет больше забот. Пойдем ли мы еще в лес по грибы? Я никогда не забуду это короткое время, которое пробыл у вас, — а дети долго ли будут его помнить? Поцелуйте их от меня, от дяди, который не любил, чтобы ему целовали руку. Вспоминают ли они меня когда-либо? Дорогая Альдона, пришли мне их фотографии.

Феликс

А. Э. Булгак
[Женева] 6 октября (23 сентября) 1902 г.

Дорогая Альдона!

Сегодня я получил второе твое письмо. Не сердись на меня, что я не ответил тебе на первое письмо — как-то не было настроения. Как видишь, сейчас я уже в Женеве.

Все это время я ходил по горам и долинам в окрестностях Женевского озера. Но слишком скучно сидеть без дела, поэтому я взялся за работу, захотелось мне приобрести квалификацию, и я учусь — она мне со временем пригодится, и вскоре я смогу зарабаты-

---

[1] Ф. Э. имеет в виду товарищей по революционной борьбе. — Ред.

бать. Работаю не много — 6—8 часов в день, так что мне хватает свободного времени и для чтения, и для отдыха, и для прогулок. Работая, я чувствовал себя здесь лучше. Теперь я должен был прервать работу на несколько дней, так как немного простудился и доктор велел мне сидеть дома. Живу в красивой и дешевой комнатке. Однако я здесь долго не пробуду. Здесь бешеные ветры, и начались дожди, поэтому переведу в какой-либо другой город, более защищенный горами от ветра. Женева лежит у самого озера — оно прекрасно, но, к сожалению, осенью вредно для здоровья.

Я очень рад, что у вас, Альдона, предвидится работа, быть может, опять у вас все пойдет хорошо, но каково здоровье твое и Гедымина? Как он себя чувствует? Не утомляет ли его теперешняя работа? Это очень хорошо, что тот, у кого вы будете работать, порядочный человек. Во сто крат лучше работать за меньшую плату у хорошего человека, нежели у тех подлецов, которые за деньги, которые тебе платят, готовы высосать не только силу твою, но и нервы, и здоровье, и жизнь. Они хотят купить не только работу, но всего человека целиком. Они превращают человека в товар, и это самое ужасное... Но — хватит, а то я опять сяду на своего конька и наскучу тебе. Для тебя это все, может быть, лишь пустые слова. Один говорит «люблю» — и это лишь фраза для него, ибо он говорит, но не чувствует (а кто не говорит сегодня, что «любит» ближних!), это никчемное фарисейство, это тот яд, который отравлял всю нашу жизнь с самого детства. Другой же говорит «люблю» и находит отзвук в человеческих душах, ибо за этим словом выступает человек с чувством, с любовью.

Поэтому, чтобы понять друг друга, давай поговорим о том, что мы оба любим. Ты страшно мало пишешь мне о детях. Как они растут? Наверное, очень скучают теперь — осенью — и больше доставляют тебе забот. Мне хочется увидеть их, обнять, посмотреть, как они развиваются, слышать их плач, смех, видеть их игры и шалости. Не знаю, почему я люблю детей так, как никого другого. Когда встречаюсь

с ними, то сразу исчезает мое плохое настроение. Я никогда не сумел бы так полюбить женщину, как их люблю, и я думаю, что **собственных** (подчеркнуто Дзержинским. — Ред.) детей я не мог бы любить больше, чем несобственных... В особенно тяжкие минуты я мечтаю о том, что я взял какого-либо ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо. Я живу для него, ощущаю его около себя, он любит меня той детской любовью, в которой нет фальши, я ощущаю тепло этой любви, и мне страшно хочется иметь его около себя. Но это лишь мечты. Я не могу себе этого позволить, я должен странствовать все время, а с ребенком не мог бы. Часто, часто мне кажется, что даже мать не любит детей так горячо, как я...

В своем первом письме ты опять писала мне об «обращении заблудшего», никогда не предполагай, что это может случиться. Я счастлив здесь, на земле, я понимаю человеческие души и самого себя, и мне не нужно успокаивать вашей верой свою душу и свою совесть, как это делают одни, или искать в этом смысл жизни, как другие. Ибо я здесь, на земле, нашел счастье... Чем более несчастны люди, чем более они злы и эгоистичны, тем меньше верят своей совести, а верят в исповедь, молитвы и ксендзов. Я ксендзов проклинаю, я ненавижу их. Они окружили весь мир своей сутаной, в которой сконцентрировалось все зло: преступление, грязь, проституция; они распространяют темноту, покорность «судьбе». Я борюсь с ними не на жизнь, а на смерть, и поэтому никогда не пиши мне о религии, о католицизме, ибо от меня услышишь лишь богохульство... Темна и неразумна мать, которая вешает ребенку образок, думая, что этим путем она охранит его от бед. Она не знает, что будущее счастье ребенка во многом зависит от родителей, от их умения воспитать ребенка, от умения подавлять в корне все плохие задатки ребенка и развивать хорошие. А это дает не религия... Надо воспитать в детях любовь к людям, а не к самому себе. А для этого самим родителям надо любить людей...

Все тот же ваш [*Феликс*]

А. Э. Булгак
[Краков] 12 марта (28 февраля) 1904 г.

Дорогая моя Альдона!

Прости, что так долго не давал знать о себе, однако ты знаешь, что не в забывчивости причина. Просто я должен был очень много работать, и мне некогда было. И теперь я спешу, поэтому посылаю лишь эти несколько слов...

Сердечно целую всех вас.

Ваш Юзеф

А. Э. Булгак
[Краков] 3 октября (20 сентября) 1904 г.

Моя дорогая Альдона!

Твое грустное письмо и меня сильно опечалило. Я не буду утешать тебя. Надо переболеть [1]... Меня жизнь утомила. Тот колосс [2], который меня мучит, колеблется уже на своих глиняных ногах, но еще имеет достаточно сил, чтобы отравить мне жизнь. Моя милая Альдона, твое горе вместе с тем и мое горе, и слезы твои — также и мои слезы. Где-то там, далеко, далеко, я вижу солнышко. Для нас с тобой оно различно, но будем о нем всегда помнить, и тогда боль наша утихнет и тепло зальет наши сердца, ибо мы поймем смысл и цель наших страданий.

Крепко и горячо целую и обнимаю тебя.

Твой Ф[еликс].

А. Э. Булгак
[Краков] 18(5) декабря 1904 г.

Дорогая моя!

Сердечное тебе спасибо за письмо. Хотелось бы побывать у вас, обнять, увидеть детей, поиграть и пошалить с ними и вспомнить давние, старые времена. Мне неприятно, что я доставил тебе столько хлопот своей

---

[1] Смерть ребенка. — Ред.
[2] Царское самодержавие. — Ред.

предыдущей открыткой, ты ведь знаешь, что, как и до сих пор, я как-нибудь выйду из положения. Эта постоянная борьба за материальное существование страшно изнуряет, мучит меня и мешает моей непосредственной работе. Но у меня нет детей, я один, поэтому не стесняйтесь со мной. Я не пишу большого письма, так как, поверь, не мог бы ничего интересного написать о себе. Я живу со дня на день, а взор мой, как обычно, обращен вдаль, и мечты гонят меня по свету в погоне за чем-то [1]. Однако борьба за средства существования порядочно утомила меня. В физическом отношении чувствую себя неплохо. Беда только со сном: то хочется спать очень много, то не могу уснуть до 4—5 часов утра, так уж несколько дней подряд.

Будьте здоровы, мои дорогие, сердечно обнимаю и крепко целую всех вас.

Ваш Ю[*зеф*]

А. Э. Булгак

[X павильон Варшавской цитадели] 18(5) сентября 1905 г.

Моя дорогая!

Благодарю тебя за письмо, я его получил после того, как написал тебе.

Пока чувствую себя здесь неплохо — ведь всего 7 недель прошло со дня моего ареста [2], здоровье хорошее, книги имею.

Как видно, ты обеспокоена мной, но ведь ты знаешь мою натуру, я даже в тюрьме, строя жизнь из мыслей и мечтаний, из своих идей, могу себя назвать счастливым. Мне только недостает красоты природы, это тяжелее всего. Я страшно полюбил в последние годы природу. Раньше я мечтал, что поеду куда-нибудь в де-

---

[1] Ф. Э. имеет в виду свои поездки по партийным делам в Берлин, Мюнхен, в Швейцарию и неоднократные нелегальные переезды через границу для подпольной работы в бывшем так называемом королевстве Польском, входившем в состав Российской империи. — Ред.

[2] 30 (17) июля 1905 года. — Ред.

ревню, теперь в тюрьме мечтаю о том, что когда буду на свободе и буду легальным, когда мне не нужно будет скрываться, скитаться по чужбине — приеду в наш уголок [1]. Во всяком случае, на этот раз я не буду столько сидеть, как раньше. Мое дело не серьезное, а наказания теперь легче. Буду наказан не административно, а судебно, поэтому смогу себя защищать. А ты, моя Альдонусь, не думай о свидании со мной в тюрьме. Не люблю я свиданий через решетку, при свидетелях, следящих за движением каждого мускула на лице. Такие свидания — это только мука и издевательство над человеческими чувствами, и поэтому специально приезжать не стоит. Увидимся при других обстоятельствах.

Обними и поцелуй от меня искренно всех ребят. Хотел бы знать, какие люди выйдут из них. Напиши, как вы живете. Обо мне не беспокойся, ведь из страданий тоже можно высечь долю счастья. Обнимаю и целую вас всех.

Ваш Феликс

А. Э. Булгак

[X павильон Варшавской цитадели] 22(9) октября 1905 г.

Милая Альдона!

Твое письмо я получил несколько дней тому назад и сегодня могу тебе ответить. Ты мне даешь столько тепла и сердечности, что когда мне становится грустно, я обращаюсь к тебе; твои слова, такие простые, искренние и сердечные, успокаивают мою грусть. Я тебе за это очень благодарен. Моя жизнь была бы слишком тяжелой, если бы не было столько сердец, меня любящих. А твое сердце тем более мне дорого, что оно меня сближает с моим прошлым, далеким, но заманчивым, с моим детством, к которому обращается моя усталая мысль, и мое сердце ищет сердце, в котором нашелся бы отзвук и которое воскресило бы прошлое. Поэтому я всегда обращаюсь к тебе, и ни-

---

[1] В Дзержиново Ошмянского уезда бывшей Виленской губернии, ныне в Советской Белоруссии. — Ред.

когда еще не разочаровывался в этом. Ведь жизнь наша в общем ужасна, а могла бы быть прекрасной и красивой. Я так этого желаю, так хотел бы жить по-человечески, широко и всесторонне. Я так хотел бы познать красоту в природе, в людях, в их творениях, восхищаться ими, совершенствоваться самому, потому что красота и добро — это две родные сестры. Аскетизм, который выпал на мою долю, так мне чужд. Я хотел бы быть отцом и в душу маленького существа влить все хорошее, что есть на свете, видеть, как под лучами моей любви к нему развился бы пышный цветок человеческой души. Иногда мечты мучают меня своими картинами, такими заманчивыми, живыми и ясными. Но, о чудо! Пути души человеческой толкнули меня на другую дорогу, по которой я и иду. Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает для нее свою жизнь. Без любящих сердец, без мечтаний я не мог бы жить. Не могу пожаловаться, я имею и то и другое. Дорогая, не беспокойся обо мне, только люби меня. Денег у меня достаточно. Нахожусь в хороших для узника условиях. Конечно, это тюрьма, и отсутствие свободы, впечатлений, совершенная оторванность от жизни тяжело отражаются, но ничего нельзя поделать. Я много читаю, учусь французскому, стараюсь познакомиться с польской литературой. Приезжать сюда для свидания на 5 минут не стоит, разве для урегулирования твоих дел. Мы даже обняться не сможем, будешь меня осматривать в клетке через двойную железную решетку. Я бы так не хотел после долгой разлуки увидеться с тобой при таких условиях. Крепко тебя целую. Расцелуй детей.

Твой Феликс

А. Э. Булгак
[Берлин] 10 мая (27 апреля) 1906 г.

Моя дорогая!

Я объехал большой кусок Европы[1] и сегодня возвращаюсь на родину. Получила ли ты мою открытку,

---

[1] Ф. Э. имеет в виду свою поездку на IV Объединительный съезд РСДРП в Стокгольм.— Ред.

посланную несколько дней тому назад? Посылаю тебе открытку с «Детьми Карла I» Ван-Дейка — правда, красиво?.. Я хотел бы побыть у вас, однако мне не скоро удастся исполнить это желание. Горячо обнимаю тебя и Гедымина.

Твой [*Феликс*]

С. Э. Дзержинскому [1]
[Варшава] 12 июня (30 мая) 1907 г.

Дорогой Стась!

Я уже вышел из «гостеприимного дома» [2], что меня очень радует. Собираюсь поехать теперь в деревню отдохнуть. Еще не знаю, куда потом денусь [3]. Сердечно обнимаю тебя.

Твой Фел[*икс*]

А. Э. Булгак
[Берлин] 14(1) марта 1910 г.

Дорогие мои!

Так давно я не писал вам. Я странствовал по свету. Вот уж месяц, как я уехал из Капри; был в итальянской и французской Ривьере, в Монте-Карло и даже выиграл 10 франков; затем любовался в Швейцарии Альпами — могучей Юнгфрау и другими снежными колоссами, горящими заревом при закате солнца. Так прекрасен мир! И тем более сжимается мое сердце, когда подумаю об ужасах человеческой жизни, и я должен опять возвращаться с вершин в долины, в норы. Через пару дней буду в Кракове, где поселюсь на постоянное жительство. Оттуда пришлю тебе свой адрес. Крепко, горячо целую всех вас.

Ваш брат Феликс

---

[1] Станислав Эдмундович Дзержинский — брат Ф. Э. — Ред.

[2] То-есть из Варшавской следственной тюрьмы «Павиак», где Ф. Э. находился с конца 1906 года (после четвертого ареста). Он был тогда освобожден под залог по болезни. — Ред.

[3] После непродолжительного отдыха Ф. Э. продолжал работать нелегально. В апреле 1908 года опять был арестован и заключен в X павильон Варшавской цитадели, где он и писал свой «Дневник». — Ред.

А. Э. Булгак
[Краков] 28(15) ноября 1911 г.

Альдонусь, дорогая моя!

...Я все это время странствовал по Европе [1], все такой же, как и всегда, — беспокойный дух. Только нервы издергались. Жизнь за рубежом, — когда мысль по ту сторону границы, когда душа тоскует о будущем и все ожидает его, — такая жизнь часто хуже изгнания, ссылки, где человек далек от жизни и движения и живет лишь своей мыслью и своими мечтами. И если я не писал тебе, то потому, что не могу и не хочу углубляться мыслью в свою жизнь, когда она так несносна. А в своем сердце я всегда ношу любовь к тебе, которую сохранил еще с дней моего детства. Пиши мне о себе и детях, как только тебе позволит время. Крепко целую тебя и детей твоих.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской [2]
[X павильон Варшавской цитадели] [3] 20 (7) января 1913 г.

Дорогая Зося!

Я сильно беспокоюсь, как ты живешь без Ясика [4]. Ты, вероятно, ужасно тоскуешь — и как ты вообще устроилась?.. О себе мне трудно писать. О своей жизни в X павильоне, с которым ты знакома слишком хорошо, я мало могу написать интересного. Текут день за днем, неделя за неделей, и уже прошли 4 месяца

---

[1] Ф. Э. имеет в виду свои поездки на различные партийные заседания и совещания, в том числе на совещание цекистов РСДРП, состоявшееся в Париже. В этот период Ф. Э. неоднократно также нелегально посещал русскую Польшу. — Ред.

[2] Софья Сигизмундовна Дзержинская — жена Ф. Э. — Ред.

[3] В шестой раз Ф. Э. был арестован и опять заключен в X павильон Варшавской цитадели 14 (1) сентября 1912 года. С этого времени и до свержения самодержавия Ф. Э. не удалось вырваться из цепей царизма. — Ред.

[4] Сын Ф. Э. был у родных в Минской губернии, так как С. С. Дзержинская в это время находилась в эмиграции. — Ред.

моего заключения. Все пройдет, хотя передо мною столько этих месяцев. Я уже тихий, и эти стены не говорят мне уже так много, как раньше, ибо другие теперь времена. Надо ждать воскресения — чуда, а пока погрузиться в сон.

Время я провожу преимущественно за чтением. Я совершенно здоров и даже, кажется, поправляюсь [1]. Вероятно, в скором времени брат получит разрешение на свидание со мной. Я ни в чем не ощущаю недостатка, и если бы я мог быть спокоен и за тебя и за Ясика, что вам по возможности хорошо, тогда и мне было бы хорошо.

У меня нет письменных принадлежностей — письмо я должен писать под надзором жандарма и спешить, — поэтому я пишу так хаотично.

Твой Фел[*икс*]

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 24 (11) февраля 1913 г.

Зося, дорогая моя!

...Ты должна заботиться о сохранении своих сил. Так много их пропадает даром из-за неразумной жизни, приносящей лишь утомление и неудовлетворенность. Теперь, сидя здесь, я вижу, сколько собственных сил я мог сэкономить, как они были малопродуктивны [2] — только потому, что я не держал себя в руках. Поэтому, может быть, смешными покажутся тебе мои советы отсюда, которых я не умел применить к самому себе, однако я попытаюсь это сделать, ибо вижу и чувствую, как сильно ты устала и изнервничалась. Не поездка в горы и праздная там жизнь может вернуть равновесие, а работа — слияние своей жизни со всем миром, и регулярная жизнь — ежедневная обязательная часовая прогулка за город и общение с природой. Одному

---

[1] Перед арестом Ф. Э. был до крайности изнурен чрезмерной работой и тяжелыми условиями жизни в подполье. — Ред.

[2] Ф. Э. всегда казалось, что он сделал недостаточно много.— Ред.

трудно урегулировать свою жизнь, но ведь можно обязать друг друга взаимно следить за этим, и тогда легче будет это сделать, и много сил и нервов будет сэкономлено, и сама работа будет плодотворнее, и переживания будут гораздо сильнее.

Я жду с нетерпением фотокарточку Ясика. Пришли мне также его прежние фотографии. Я так мечтаю получать о нем самые подробные сведения и так хотел бы его видеть, но боюсь, что он испугается; и я не мог бы смотреть на нашу крошку через решетку — не быть вправе взять его на руки и приласкать. Нет, я не могу, лучше совсем не видеть, разве лишь если бы разрешили без решеток. А теперь здесь этого добиться трудно. В эту субботу была у меня Стася с детьми. Ребят не хотели пустить, хотя прокурор в пропуске разрешил, и лишь после долгих хлопот Стаси разрешили. О моей «жизни» напишу тебе на будущей неделе. За коллективное открытое письмо очень благодарен и посылаю всем сердечные приветы.

Твой Фел[*икс*]

А. Э. Булгак

[X павильон Варшавской крепости] 16 (3) июня 1913 г.

Дорогая моя Альдона!

Твое письмо я получил еще месяц тому назад — большое тебе спасибо за него. Хотя я и не писал так долго, но часто думал о тебе. Не по забывчивости я не писал тебе. Здесь ведь память о тех, кого любишь, особенно жива, она бежит к ним, и вновь оживают эти давние-давние годы, когда мы были вместе; сколько улыбок, любви окружало нашу юность и детство. Деревня, кругом леса, луга, поля, речка неподалеку, квакание лягушек и клекот аистов. Вся эта тишина и прекрасная музыка природы по вечерам, и утречком роса на траве, и вся наша крикливая орава малышей, и звучный, далеко слышный голос мамы, созывающий нас из леса и с реки домой, к столу, и этот наш круглый стол, самовар, и весь наш дом, и крыльцо, где мы собирались, и наши детские огорчения и заботы ма-

мы... Все это навсегда, бесповоротно унесла жизнь, текущая безустанно вперед, но осталась память об этом, любовь и привязанность, и они будут жить в душе каждого из нас до самого заката нашей жизни. И все эти улыбки и сияние, слезы и печаль, совместно пережитые когда-то нами, живут в душе и доставляют радость даже тогда, когда сам человек этого не осознает. Человеческая душа, как цветок, бессознательно поглощает лучи солнца и вечно тоскует по нем, по его свету; она увядает и коверкается, когда зло заслоняет этот свет. В этом стремлении каждой человеческой души к солнечному свету и зиждется наша бодрость, вера в лучшее будущее человечества, и поэтому никогда не должно быть безнадежности... Злым гением человечества стало лицемерие: на словах любовь, а в жизни — беспощадная борьба за существование, за достижение так называемого «счастья», карьеры... Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Тогда человек не боится ни страданий, ни боли, ни горя, ни нужды. Тогда человек перестает бояться смерти, хотя только тогда он научится по-настоящему любить жизнь. Лишь тогда человек будет ходить по земле с открытыми глазами, и все увидит, услышит и поймет, тогда только он выйдет на свет из своей узкой скорлупы и будет ощущать радости и страдания всего человечества и только тогда будет действительно человеком.

Прости меня, что я так много пишу об этом, но твое грустное письмо навело меня на эти размышления. Это не рецепт от печалей. Печаль, грусть — это жизненная необходимость для человека, но если он понимает людей и себя, то в душе у него будет сиять ясный солнечный день и не будет места какой-либо безнадежности. Тогда и в дорогих ему людях он сможет пробудить возвышенные стремления, дремавшие дотоле, и показать им путь к настоящему счастью.

О себе мне нечего много писать. Сижу в тюрьме, как уже столько раз сидел; вот уж 10-й месяц пошел. Время бежит быстро. Неделю тому назад ко мне в камеру посадили товарища, и теперь мне лучше. Заклю-

чение скверно отразилось на моей памяти и работоспособности... Суд состоится не скоро, и на этот раз придется сидеть дольше. Перспектива не веселая, но я обладаю счастливой способностью ничего не воспринимать в трагическом свете и не хочу считать себя неспособным перенести те трудности и страдания, какие вынуждено переносить столько людей. Я умею соединить в своей душе ту внешнюю необходимость, которая меня сюда привела, с моей свободной волей. О свидании со мной и не думай даже. В таких условиях и после стольких лет разлуки наше свидание было бы лишь мукой и для тебя и для меня. Вообще я прошу тебя лишь присылать мне письма — всем остальным я обеспечен. Крепко целую и обнимаю тебя и ребят.

Твой брат Феликс

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 28 (15) июля 1913 г.

Дорогая моя Зося!

Я так тебе благодарен за каждое письмо, за каждую весточку о Ясике. В последнее время я получил твое письмо от 2—3/VII с фотографией Ясика и открытку об Ясике. Я так рад, что он уже с тобою. Его последняя карточка, его улыбка — счастье для меня, она озаряет мне всю камеру, и я улыбаюсь ему, и ласкаю его, и обнимаю дорогое дитя и радуюсь, что все его улыбки и ласки — твои, что он дает тебе силу перенести все.

Я уже $1^1/_2$ месяца сижу с другом [1], и мне сравнительно лучше. Мы не мешаем друг другу. Он молод — и для меня это большой плюс. Мы читаем и учимся, и время, кажется, идет ужасно быстро. Мое следствие, вероятно, не скоро будет закончено.

Твой Фел[*икс*]

---

[1] **Ф. Э. сидел в одной камере с Эдвардом Прухняком, видным деятелем СДПиЛ, потом одним из руководящих деятелей Коммунистической партии Польши. — Ред.**

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 15 (2) декабря 1913 г.

Дорогая Зося моя! Чрезвычайно обрадовало меня твое последнее открытое письмо от 28/XI с приписками друзей, из которого видно, что болезнь Ясика уже прошла и что тебя окружают товарищи. Я думаю о Ясике и воображаю, что держу его на коленях, чувствую его и вижу его смех. Я думаю о том, что и он знает меня и что между нами завязалась неразрывная нить. Это сделала ты и друзья мои, которым я так благодарен за то, что они своей лаской уже сейчас формируют его душу и вливают в нее сокровища, из которых он, когда вырастет, сам должен будет щедро дарить другим. Любовь к Ясику переполняет мою душу, будто в нем сосредоточилась вся моя жизнь. Он моя тоска, моя мысль и надежда, и когда я вижу его глазами души, мне кажется, что я вслушиваюсь в шум моря, полей и лесов, в музыку собственной души, всматриваюсь в искрящееся звездное небо, шепчущее что-то сладкое и таинственное, и я вижу будущее и чувствую в себе чаяния миллионов. Он имеет тебя и сердца наших друзей. Пусть видит только, — и не закрывай ему глаз, когда он сможет уже понять, — и радость нашу, и надежду в страдании, и красоту жизни. Надо, чтобы ласка дала ему силы и умение страдать и чтобы (в будущем) ничто не сломило его. Он должен видеть, чтобы понять и вместе с тобой по-своему пережить твои страдания, чтобы, таким образом, научиться самому любить и понимать, а не только быть любимым и понимаемым. Но в то же время он должен видеть и радость твоей жизни, вытекающую не только из него, а из твоей жизни вне его... Любовь к ребенку, как и всякая великая любовь, становится творческой и может дать ребенку прочное, истинное счастье, когда она усиливает размах жизни любящего, делает из него полноценного человека, а не превращает любимое существо в идола. Любовь, которая обращена лишь к одному лицу и которая исчерпывает в нем всю радость жизни, превращая все осталь-

кое лишь в тяжесть и муку, — такая любовь несет в себе яд для обоих...

Ваше коллективное письмо. Идея объединяет людей, идея, вытекающая из глубины души. Она открывает их сердца и заставляет помогать друг другу... И работа во имя идеи не замыкается в узком кругу, а дает человеку способность охватить весь мир. И моя мысль улетает отсюда и соединяется с вами и говорит мне о бессмертии силы, связующей человеческие мысли и сердца, о победе жизни. И опять все то, что тюремными стенами и моими страданиями зарыто где-то глубоко в душе моей, выходит наружу и вместе с моим чувством к Ясику, тебе и друзьям моим приобретает плоть и наполняет мою душу, — и я чувствую вашу любовь и великое содержание жизни.

Передо мной карточки Ясика и его товарища. Как хорошо, что мальчики-ровесники воспитываются вместе, могут вместе играть, любить друг друга, ссориться и даже драться, узнавать друг друга... Они переживают счастливейший возраст. Вскоре яд жизни в большей или меньшей степени станет просачиваться и в их души, и невозможно в теперешних условиях уберечь их от этого яда. Мне кажется, что жизнь рабочих — уже мыслящих рабочих — является средой, где меньше всего этого яду, где легче всего сохранить и обогатить душу, где недостает лишь внешней формы — «хороших манер». Это мир объединения жизни и идеи, мир страдания и великих радостей. Я не идеализирую этой жизни, я понимаю весь ее ужас, но там живо стремление к свету и красоте, и там легче всего привить ребенку это стремление... Эти мысли, упорно возвращающиеся ко мне, вытекают не из моего фанатизма или догматизма, а из заботы о богатстве души нашего Ясика, о том, чтобы он приобрел способность к великим, глубоким переживаниям. И если моя мысль ищет разрешения в этом направлении, то, быть может, и потому, что я сам воспитан в других условиях. И если мы сохранили хотя бы в некоторой степени свою душу, то обязаны этим лишь специфическим условиям жизни, в которых Ясику уже жить не придется. Теперешняя молодежь из среды так называемой интелли-

генции уже совершенно иная, она душевно более убогая, именно в результате изменившихся условий. Я не говорю, конечно, об исключениях. Формировать душу Ясику будут не наши взгляды, не наша вера, а его жизнь и действительная жизнь окружающей его среды: те страдания и радости, которые будут переживать в его среде его близкие и товарищи...

Чтобы сохранить и обогатить его душу, надо научить его видеть и слышать все то, что он уже будет способен видеть и слышать, надо, чтобы его любовь к тебе превратилась в глубокую дружбу и безграничное доверие...

Твой Феликс

А. Э. Булгак

[X павильон Варшавской цитадели] 15 (2) декабря 1913 г.

Альдона, дорогая моя!

Я провинился перед тобой — не писал тебе совсем в течение стольких месяцев. Но жизнь моя так монотонна, а настроение настолько нерадостное, что я не мог написать даже пару слов... Я так хотел бы облегчить твою грусть, которая пробивается из твоих писем. Я обладаю одним, что поддерживает меня и заставляет быть спокойным даже тогда, когда бывает так страшно грустно. Это не просто черта моего характера, это — непреклонная вера в людей...

Условия жизни изменятся, и зло перестанет господствовать, и человек станет человеку самым близким другом и братом, а не как сегодня — волком...

Отсутствие любви ребенка к матери — это... огромное несчастье для него, если только любовь действительно отсутствует. Ибо почти никогда нельзя категорически утверждать этого, так как любовь может и быть, но она не проявляется в силу различных причин. Нужно выявить эти причины и устранить их, ибо для каждого любовь к матери — огромное благо... Обычно в наше время разлад между родителями и детьми возникает вследствие различия убеждений, мнений и веры. Устранить зло, вытекающее отсюда, легче всего.

Можно не соглашаться с убеждениями или верой, отличными от собственных, но уважать их и не навязывать детям своих убеждений в силу родительских прав. Ибо дети ощутят это навязывание не иначе как насилие над их мыслью; они будут всегда чувствовать, что это навязано им, что это для них — нечто чуждое. А если они эти убеждения или веру, навязанные им на основании родительской власти, не задумываясь, примут, то как же смогут справиться с трудностями в жизни, когда родителей уже не станет или когда они столкнутся с вопросами, на которые родители не смогут дать ответа? Эти люди никогда не станут самостоятельными, и другие будут их презирать, если только счастливая случайность не спасет их. Таких людей не только презирают. Они и сами не имеют в себе той моральной силы, которая обязательна теперь для каждого. Это она должна охранить их душу от грязи современного общества, прикрывающейся красивой маской, чтобы легче опутать свою жертву! Родители не понимают, как много вреда они причиняют своим детям, когда, пользуясь своей родительской властью, хотят навязать им свои убеждения и взгляды на жизнь. И если это — причина разлада в семье, то ее легко устранить. А если причина в другом — в плохом характере и даже в плохих поступках, то и тогда единственным средством, лекарством должна быть любовь матери, которая объясняет ребенку первопричину зла и его результаты — как товарищ товарищу, — и, познав душу ребенка, стремится проникнуть в нее. И если ребенок не послушается материнской любви, то сама жизнь научит, накажет его, и тогда он вспомнит мать, ее любовь и ее слова, тогда он свернет с плохого пути и поймет, что если бы не ее любовь к нему и его к ней, то он погиб бы навсегда...

Сам я мучаюсь сегодня, как отец, и думаю о будущем моего Ясика, чтобы он вырос не только физически здоровым, но чтобы и душу имел богатую и здоровую. Он в Кракове у своей матери, а я здесь. Я просил Зосю, чтобы она прислала тебе его фотографию. Она пишет мне о нем так много, что я как бы вижу его и нахожусь вместе с ним. Он счастливо перенес ужасную

скарлатину, повидимому, организм у него очень здоровый. Мать пишет, что он такой милый, что стал любимцем моих друзей. Он растет в компании своего ровесника, сына наших друзей, с которыми вместе проживает Зося. Недавно Ясик узнал, что он — Дзержинский, это таинственное для него слово так ему понравилось, что он говорит теперь: «Я не сынок, не котик, а «Асек Дзерлинский». Забавный, дорогой малыш! Со мной здесь в камере три его фотографии, снятые летом в деревне в Галиции, и правда он хороший, об этом говорят не только мои влюбленные глаза.

У Зоси есть уроки, а растить сынка ей помогают наши сердечные друзья.

А я все сижу здесь, и не хватает мне лишь свободы. У меня теперь камера лучше, ибо с южной стороны, и солнце не забывает и обо мне.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 19 (6) января 1914 г.

Зося, моя дорогая!

Я очень беспокоился, не получая от тебя ответа на свое письмо от 1/XII, и вот только на-днях получил твое письмо от 4/I с «письмом» Ясенька и открытку от 9/I. Значит, мое письмо от 1/XII пропало, дошло же до тебя только последнее письмо. А мне так хотелось, чтобы дошло то письмо... [1]

Ты никак не можешь испортить Ясика своим нервным состоянием, ибо он знает и чувствует, что ты его любишь. Когда он увидит тебя печальной и расстроенной, он почувствует это сам и спросит себя: «Что случилось с мамой?» — и ответит себе, что ее что-то беспокоит. Он научится понимать тебя. А это самое главное. Там, где любовь, там должно быть и доверие. И особенно в более старшем возрасте, когда отношение к ребенку не определяется правом власти, соб-

[1] Письмо от 1/XII было переслано нелегальным путем и не проходило прокурорского просмотра. — Ред.

ственности. Только таким образом можно лучше всего бороться с вредными влияниями окружающей жизни.

Я вижу из письма, что ты переутомлена, и если только можно как-нибудь устроить, чтобы ты смогла отдохнуть, то тебе необходимо добиваться этого, и тогда снова и память и мозг будут лучше работать. Я не могу распространяться на эту тему. Ведь я знаю, как тебе должно быть тяжело и трудно найти эту возможность отдохнуть. Я же, находясь здесь, также совершенно бессилен, у меня остались только слова. И мое бессилие и все это так действует на меня, что писать о себе и даже думать просто невозможно. Я должен бежать от дум о своем бессилии и заполнить мысли образом Ясика или заняться общими вопросами, вспоминая жизнь людей, лишенных всего, надежд на лучшее будущее. Моя способность к труду за последнее время сильно исчерпалась. И не раз возникает у меня мысль о неспособности в будущем жить, быть полезным. Но я говорю тогда себе: тот, у кого есть идея и кто жив, не может быть бесполезным, разве только, если сам отречется от своей идеи. И только смерть, когда придет, скажет свое слово о бесполезности. А пока теплится жизнь и жива сама идея, я буду землю копать, делать самую черную работу, дам все, что смогу. И эта мысль успокаивает, дает возможность переносить муку. Нужно свой долг выполнить, свой путь пройти до конца. И даже тогда, когда глаза уже слепые и не видят красоты мира, душа знает об этой красоте и остается ее слугой. Муки слепоты остаются, но есть нечто высшее, чем эта мука, — есть вера в жизнь, в людей, есть свобода и сознание неизменного долга.

О своей тюремной жизни не пишу, ты ведь ее так хорошо, до боли, знаешь. Иногда по вечерам такая тишина кругом, прерываемая и усиливаемая лишь внезапным коротким лязгом замка или засова, что все кажется каким-то кладбищенским сном, а вся моя недавняя жизнь и весь этот далекий мир кажется только иллюзией. А днем так часто ожидание чего-то неизвестного и нервное напряжение...

Когда закончится следствие — не знаю; обещали

в январе. Во всяком случае, до суда еще очень далеко. Несмотря на долгие годы тюрьмы, которые меня ждут, я хотел бы выдержать, чтобы вернуться к жизни!..

Твой Фел[*икс*]

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 21 (8) января 1914 г.

Дорогая Зося!

...Здесь нужно много сил, ибо мне, вероятно, дадут 8 лет каторги. Увы, столько же получит и Эдек [1], так как его 3 года — это лишь начало, вскоре ему дадут, пожалуй, больше.

Пользуюсь случаем просить тебя посылать регулярно по несколько рублей Мартину Пакошу [2], который находится здесь с 16 марта 1913 года. У него не было и нет сейчас ни гроша. Он все время голодает (отнятые у него 50 руб. конфискованы). Родных у него совершенно нет. Он писал в Галицию некоторым знакомым, но ответа не получил.

Я не могу ему помочь, даже не могу с ним связаться.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 15 (2) февраля 1914 г.

Зося, моя дорогая!

Сегодня я получил коллективную открытку и твое письмо от 31/I. И мне сегодня хорошо в моей камере. Впервые после долгого времени я снова смог улыбнуться улыбкой, идущей из глубины души и озаряющей жизнь и весь мир... И сегодня снова мысли мои стремятся к радости жизни — нашей жизни. Беспо-

---

[1] Эдек — Эдвард Прухняк. — Ред.

[2] Мартин Пакош — активный член социал-демократии Польши и Литвы, потом член Коммунистической партии Советского Союза. — Ред.

коит меня только состояние здоровья Ясика, но я слышу голос, который мне подсказывает, что он будет здоров, ибо имеет тебя и друзей. И снова верю, что придет время, когда и я смогу его прижать к сердцу, дать ему почувствовать и любовь мою к нему, и веру мою в жизнь — уверенность мою. Сегодня смотрю на его последние фотографии — вижу, как он подрос, и мечтаю о том времени, когда смогу его видеть и ласкать.

Хочу вернуться и вернусь, несмотря ни на что. Когда наступают для меня такие радостные минуты, как сегодня, я полон уверенности, что все можно перенести без отчаяния и сохранить свою душу до самого конца. И не понимаю я отчаяния, трагедии, раз душа еще способна чувствовать, когда есть еще силы и живая мысль и когда сердце еще так сильно бьется в груди. И снова жизнь становится чем-то таким, к чему следует подходить просто, что постоянно движется и развивается в противоречиях, но всегда дает выход душе человеческой, только бы она пожелала быть свободной... Тюрьма мучает и очень изнуряет, но это сейчас цена жизни, цена права на высшую радость, возможную теперь для людей свободных, и мука эта преходящая, она ничто, в то время как радость эта всегда жива, она высшая ценность...

С трудом верится, что уже 17 месяцев прошло с тех пор, как я тут, и только мои настроения указывают, что эти месяцы не прошли безнаказанно. Долго еще мне придется здесь быть; думаю, что и весь 1914 год проведу здесь...

Напиши мне, что слышно на свете, лучше ли сейчас цензурные условия печати, и, может быть, выходят новые печатные издания у нас и в России.

Твой Фел[икс]

А. Э. Булгак

[X павильон Варшавской цитадели] 16 (3) февраля 1914 г.

Дорогая моя Альдона!

Я получил все: и видовую открытку и письмо

с твоими сердечными пожеланиями... Человек здесь становится немного сентиментальным и думает и говорит о том, о чем обычно там, где есть работа, молчат. Там, на свободе, в жизни и в поступках руководствуешься верой в свое дело. Действие заменяет слова. Здесь же, где нет места никакому действию, его должны заменить чувство, слово и мысль. О себе я опять не могу написать ничего нового. Во внешней жизни никаких перемен, я все еще не знаю, когда закончится следствие и когда, наконец, будет суд. Дни бегут, и, как обычно в таких условиях, когда взглянешь назад, кажется, что дни промчались с огромной быстротой, но стоит лишь обратиться к своему настоящему и будущему, как время тянется поистине черепашьим шагом. Бессмысленное прозябание, которое могло бы довести до сумасшествия, если бы не спасала более широкая мысль, понимание неизбежности и необходимости этого прозябания, понимание того, что оно является ценой радостного и творческого будущего, приближающегося к нам в аду современной жизни.

Мое настроение улучшилось, и хотя жизнь у меня сложилась так, что я вынужден быть источником страданий для самых дорогих мне людей, я живу в согласии с самим собой и с повелениями своей души, своей совести, сколько бы мук это не стоило ни мне, ни моим близким. И поэтому я могу обрести внутреннее спокойствие, хотя страдания и муки на моем жизненном пути не уменьшились и не уменьшатся.

Сегодня нет такого человека, исключая лишь узкую горстку богачей, который мог бы сказать, что он не знает, что такое страданье. И твои страданья так тяжелы, как у многих других. Однако если мыслью и чувством сумеешь понять жизнь и собственную душу, ее стремления и мечты, то само страданье может стать и становится источником веры в жизнь, указывает выход и смысл всей жизни. И в душу может возвратиться спокойствие — не кладбищенское спокойствие, спокойствие трупа, а уверенность и вера в радость жизни, несмотря на боль и вопреки ей... И сегодня из этих страданий человечества скорее, чем когда-либо, может прийти царство любви и всеобщей справедли-

вости, мечта о котором выпестована в жестокой борьбе. Боль человека, если она открывает глаза на боль других людей, если она приводит к поискам причины зла, если она соединяет его сердце с сердцами других страдающих... если дает человеку идею и твердость убеждений, — такая боль плодотворна...

Я так хотел бы, чтобы мои слова дали тебе то, что человек в моем положении вообще может дать, мои слова, которые подсказала мне моя собственная тоска, моя борьба со злом теперешней жизни, и с моим страданьем, и с тем злом, которое есть и во мне самом. Ибо нет людей абсолютно добрых, и я к ним не принадлежу. Я лишь понял свои стремления и мечты, стремления и мечты человека, понял жизнь, и поэтому для меня боль — это не только мука, но и радость, и спокойствие, и любовь к жизни, и вера в лучшее будущее для всего человечества.

Феликс

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 9 марта (24 февраля) 1914 г.

Зося, моя дорогая!

Снова светлее в моей камере, так как я получил вчера твое письмо от 27/II вместе с «письмом» озорника Ясика. Я хотел бы сам чаще тебе писать, чтобы отразить все то, что храню в душе моей для вас, и все, что является песней моей, но таится в самой глубине души: что жизнь легка и так желанна и могуча. Но у меня не хватает слов — эта же жизнь, как и эти стены мои, высосали способность к живым, творческим словам... Поэтому сейчас я так редко пишу. Тишина и мертвечина камерной жизни и на душу накладывают клеймо молчания, серость этой жизни делает серой и поверхность души, монотонность же этой жизни приводит к тому, что и душа становится точно застывшей, неподвижной, постоянно возвращающейся к тем же мыслям и чувствам. Поэтому, когда я сажусь за письмо, у меня постоянно такое чувство, что я начну повторять одно и то же, почти те же слова для выражения

все тех же чувств и мыслей. Я стою на одном месте, а мне так страшно хочется жизни, действий, движения, что я иногда говорю себе, что свобода не привлекает меня нисколько, так как я не могу о ней думать, не чувствуя уз. И о жизни своей настоящей думать — о всех ее конкретных деталях, думать о ней в целом — не могу, как не может живой человек охватить своей мыслью содержания смерти. Именно потому, что человек так сильно любит мир действительности, он создает себе мир абстрактных обобщений, который для него приобретает реальные формы. До известной степени ведь так происходит и на воле, где столько ада. Из любви к жизни возникает отрицание ее и создается жизнь идеи. И этот мир идеи постоянно сливается с тем реальным в жизни, что я больше всего полюбил. Смотрю все время на бесконечно дорогое личико Ясика и не могу наглядеться досыта и улыбаюсь его фотографии возможно так же, как и Ясик, глядя на мою, и повторяю: Ясик мой, мой! Сначала на фотоснимках, присланных мне в последний раз, Ясик показался мне каким-то другим, но с каждой минутой я точно ближе узнавал его, и он все больше становился моим. И я не могу, когда смотрю на него, думать мрачно или с апатией. Деточка, такая любимая, источник силы и уверенности и необходимости борьбы за жизнь. Отвлеченные, общие идеи приобретают плоть и силу и еще больше связывают с общей жизнью. Я нахожусь так далеко, и вынужден один сидеть тут без действия, без движения, не будучи в состоянии помочь тебе бороться за его душу и тело, за его жизнь — человека.

Я должен с этим примириться, ибо иначе не может быть, ибо сама жизнь этого требовала — я здесь не случайно. Но когда я думаю, что, может быть, слишком большая тяжесть легла на твои плечи, — тогда мне тут очень плохо. А обо мне не беспокойся. Я знаю, дорогая, что всегда к тебе могу обратиться и обращусь, когда мне нужна будет помощь. Самую большую помощь от тебя я уже получаю, так как ты сама мне пишешь и связываешь с тем, что мне дорого. А материально я тут вполне обеспечен, имею все, что тут

иметь разрешается. И часто, когда думаю о тех, которые не имеют даже самых необходимых вещей, меня охватывает стыд и гнев на себя и тех, которые помнят о моих нуждах, забывая о других. Нет радости, как при общей трапезе, а тяготит проклятие, как на пиру, утаенном от твоего брата, который находится по соседству от тебя, но с которым ты не имеешь права жить по-братски, хотя и знаешь, что он рядом с тобой и что у него ничего нет[1]. Точно так же, впрочем, и в жизни, где нет стен, однако стена эта существует и разделяет, и каждый ее более или менее чувствует. Я не сектант, знаю, что невозможно было бы жить и работать, не создавая этих разделяющих стен, но каждый, кто присвоил себе наше имя[2], чтобы не презирать себя, должен добиваться того, чтобы стен этих было как можно меньше, чтобы они не были совершенно непроницаемы. Чаще всего, суживая чувство братства до тесного круга людей лично близких, люди обманывают себя, живут тем, что уже минуло, что проходит. И снова мысли мои возвращаются к условиям жизни рабочих. Там уже и в жизни на каждом шагу это чувство братства (не филантропического, христианского порядка, заслуживавшего уважения во времена средневековья, а теперь отвратительного и лицемерного), — живо и является творческим.

Физически я совершенно здоров, но в отношении душевной жизни мне кажется, что у меня все меньше сил для радостной улыбки, хотя неверие в жизнь не возникало у меня никогда... У нас в камере сейчас несколько больше жизни, так как мой компаньон получил на-днях обвинительное заключение, и через месяц-два будет слушаться его дело. А о своем следствии я ничего не знаю; наверно, еще с год посижу тут до суда.

Твой Фел[*икс*]

---

[1] Заключенные X павильона Варшавской цитадели были друг от друга совершенно изолированы и не могли взаимно помогать друг другу. — Ред.

[2] То-есть имя революционного социал-демократа. — Ред.

А. Э. Булгак

[X павильон Варшавской цитадели] 16 (3) марта 1914 г.

Дорогая Альдона!

Значит, после четырех лет разлуки мы опять увиделись. Как во сне — в таком мучительном сне. Даже не дали нам обнять друг друга. Двойная решетка — за ней я в клетке, как дикий, бешеный зверь. И я даже не мог показать тебе той радости, которую ты мне доставила. Я был как бы сонный и равнодушный, — как привидение. Только настоящий сон может внести жизнь и радость, а наша действительная жизнь — точно ночной кошмар. И спустя несколько дней пришел благословенный сон, который позволил мне без решеток увидеть и обнять тебя. Кругом нас были цветы на лугу, и шелестели дубовые листья, и шумел сосновый лес. Возможно, что это было в Дзержинове. С нами был также и мой Ясик. Я лежал и смотрел сквозь тихо двигавшиеся сосновые ветви на небо, на облака, которые все бежали куда-то в нескончаемую даль, как толпы людей, странствующих в погоне за счастьем, толкаемых вечной тоской по лучшей жизни. Это движение облаков, это чувство, что ты и мой Ясик находитесь рядом со мной, как бы убаюкивали меня. Сон этот облек мои мысли и мечты живой плотью и дал мне новые силы, чтобы после пробуждения устоять в этой атмосфере скуки, оторванности от жизни и бессмысленного прозябания.

Меня очень беспокоит мысль о здоровье Вандзи [1]. Со времени нашего свидания я не получил никаких известий о ней. Прямо страшно подумать, чтобы ей действительно могла угрожать опасность. Когда я думаю о всех тех несчастьях в жизни, которые подстерегают человека, о том, что человек так часто лишается всего того, к чему он был более всего привязан, снова моя мысль говорит мне, что в жизни надо полюбить всем сердцем и всей душой то, что не преходяще, что не может быть отнято у человека и бла-

---

[1] Племянница Ф. Э., которая вскоре умерла. — Ред.

годаря чему становится возможна и привязанность его к отдельным людям и вещам. В некоторой степени также было и до сих пор: люди искали утешения и убежища от всех несчастий в мысли о загробной жизни и загробной справедливости. Но для земной жизни эта мысль бесплодна, ибо она не движет жизнь вперед, а лишь освящает и увековечивает все несчастья и как бы покрывает землю траурной мантией. Это — мысль заключенного, приговоренного к вечной тюрьме и брошенного в смрадную яму до конца дней своих. Но существует иная мысль, вытекающая не из лживого отрицания земной жизни, а из любви и привязанности к этой жизни, мысль о победе на земле, а не о расплате за грехи, о вечных карах и возмездии за гробом. Любовь к страдающему угнетенному человечеству, вечная тоска в сердце каждого по красоте, счастье, силе и гармонии толкает нас искать выхода и спасения здесь, в самой жизни, и указывает нам выход. Она открывает сердце человека, его глаза и уши и придает ему исполинские силы и уверенность в победе. Тогда несчастье становится источником счастья и силы, ибо тогда приходит ясная мысль и освещает мрачную дотоле жизнь. С этих пор всякое новое несчастье не является более источником отречения от жизни, источником апатии и упадка, а лишь вновь и вновь побуждает человека к жизни, к борьбе и к любви. И когда придет время и наступит конец собственной жизни—можно уйти спокойно, без отчаяния, и не боясь смерти...

Феликс

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 30 (17) марта 1914 г.

Дорогая моя Зося!

...Вот уже две недели, как я сижу один. Я сам этого добивался и пока доволен этим одиночеством. ...Сейчас меня действительно окружает тюремная тишина, потому что тут не проходной коридор, следовательно, тут редко ходят и не стучат дверьми. И соседи

не стучат в стену, и внизу никого нет. За окном недалеко — и в то же время так далеко — Висла, и я слышу, правда редкие еще, гудки пароходов и звонки Ваверской пригородной железной дороги за Вислой. Это так близко, а слышу я эти отзвуки жизни точно сквозь сон, точно сквозь какой-то густой туман, издалека. На столе, покрытом большим белым полотенцем вместо скатерти, все фотографии Ясика в белых рамках; со всех сторон смотрит он, улыбаясь, на меня. На стенах, как цветные пятна, открытки с видами. А кругом глубокая, мертвая тишина, точно меня самого и все вокруг меня на бегу вдруг пригвоздило к месту какое-то колдовство. И когда я так прислушиваюсь, точно обязательно должна прийти какая-то страшная весть, я слышу в этой тишине лишь точащего дерево червяка, который, находясь в одной из досок моих нар, вечно мне сопутствует и безустали грызет. Когда эта тишина утомляет меня, я прерываю ее хождением по камере. В пустой большой камере шаги по каменному полу отзываются громким эхом, отражаются от стен и потолка и звуком своим наполняют не только мою камеру, но, кажется, все это здание павильона.

А когда физическая усталость заставляет меня остановиться, тогда я точно просыпаюсь и возвращаюсь в свой мир тишины. Теперь, когда я один, я работаю больше и, кажется, с большей пользой, и день у меня проходит быстро. Слишком долго лишь сплю, иногда по 11—12 часов, и нет ни одной ночи, когда бы мне не снились разные сны, реже всего радостные, чаще всего неприятные, обычно какие-то чудные, фантастические, прямо-таки болезненные.

Твой Фел[*икс*]

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 21 (8) апреля 1914 г.

Зося! Дорогая!

Мысли мои все время бегут отсюда, из камеры... Все время мне кажется, что у вас там, в противопо-

ложность тому, что у меня тут, происходит что-то важное. И я постоянно точно выжидаю каких-то вестей.

Я уже в течение 12 дней снова не один, сидим вдвоем. В камеру ко мне посадили незнакомого молодого рабочего, довольно симпатичного, насколько мне удалось его узнать. И нельзя сказать, чтобы мы были недовольны обществом друг друга. Может быть, это только временно, пока мы не узнаем друг друга лучше, это часто бывает здесь. Но что касается меня — не думаю, чтобы так было. Я заметил, что лучше всего чувствую себя в обществе детей и рабочих, и только уж чрезвычайно нервное состояние может привести к тому, что и это общество тяготит меня. В таком обществе я больше чувствую себя самим собой. Тут больше простоты и искренности в общении, меньше условных форм в быту, а интересы и заботы этого круга мне более понятны и близки. И только тогда мысли мои перестают быть для меня чем-то отвлеченным, они становятся кровью и плотью и приобретают силу. И неоднократно, думая о последних моих годах, — столько уже лет, — когда я перестал непосредственно и постоянно жить повседневной жизнью[1] рабочих, я вижу, сколько сил и крепости из-за этого я потерял. Я не виню ни себя, ни кого-либо — так вопреки воле, по необходимости складывалась жизнь. Но я все еще мечтаю и верю, что придет время, когда я смогу осуществить эти мечты и когда я снова смогу черпать из этого источника силу и крепость. И я не думаю уже о минувших годах и о предстоящих годах моей жизни[2]. А что молодость и ее сила вернутся — в этом я уверен. Такова воля души, воля, которая двигает и толкает вперед жизнь и дает силу. И сейчас, когда я сижу с таким молодым, который мог бы почти быть моим сыном, когда отдаю себе отчет в этом, я не хочу верить, что уже пройден такой отрезок жизни. Но ско-

---

[1] Ф. Э. имеет в виду 1908—1911 годы, проведенные в тюрьме, ссылке и эмиграции, когда он не мог непосредственно и каждодневно общаться с рабочими массами. — Ред.

[2] То-есть о годах, проведенных им в тюрьме, и о предстоящей долголетней каторге. — Ред.

ро забываю об этом, об этой разнице в возрасте, и мне кажется, что я буду шагать рядом и вровень с этой молодежью.

Итак, чувствую себя в общем хорошо (физически я здоров). Только в последнее время был несколько выведен из равновесия. Следствие по статье 102, как мне сообщил следователь, должно быть закончено через какой-нибудь месяц,— следовательно, начнется второй, довольно длительный (не менее чем полугодичный) период ожидания обвинительного заключения и суда, чтобы уже, наконец, получить приговор и отсиживать его...

Твой Фел[*икс*]

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 16—18 (3—5) мая 1914 г.

Зося, моя милая!

Эта неделя полна впечатлениями. Позавчера я получил твои письма от 22/IV и 8/V, а сегодня 2 открытки: от 3/V коллективную и твою от 11/V. За все, и за открытку, писанную ночью у кроватки Ясика, я тебе так благодарен. В свое возвращение к жизни я сейчас верю, быть может, больше, чем когда-либо. И сегодня я чувствую, как живут самые заветные думы и чаяния мои, что я сам живу в тех и через тех, кто мне дорог и кто всегда в моем сердце. И твои письма и слова говорят мне об этом, и тогда я столько сил чувствую в себе и столько жизни и творческой работы вижу перед собой.

Во вторник 12/V (по нов. стилю) в окружном суде действительно разбиралось мое дело за побег[1]. Я не послал тебе письма на прошлой неделе, так как хотел написать о суде, хотя о результатах ты узнаешь раньше, чем дойдет это письмо. Обвинительное заключение

---

[1] Речь идет о побеге Ф. Э. в конце 1909 года из села Тасеевки (Сибирь), куда он был выслан на вечное поселение. — Ред.

мне вручили за неделю до суда. Само же дело слушалось не больше 20—30 минут вместе с совещанием судей и чтением приговора. Зачитали $1^1/_2$ страницы обвинительного заключения, допросили меня — я признался: «уехал», прокурор произносит два слова: «поддерживаю обвинение», защитник говорит несколько минут — о моем длительном заключении, о манифесте, я отказываюсь от последнего слова, суд возвращается, зачитывает жесткое: «обратить в каторжные на 3 года ссыльнопоселенца...». Приговор будет зачитан в окончательной форме через 2 недели... и все кончено. Я должен поторопиться освободить скамью подсудимого, так как это место уже ожидает очередной подсудимый — какой-то вор.

Я оглядел весь зал, искал хоть чьего-нибудь родного лица, ведь судебное заседание происходило при открытых дверях. Ни на одном лице, ни на чьем взгляде я не мог остановиться. Публика кругом чужая, не ради меня пришли, ради других. И лица их отражали только любопытство зевак. Ожидания обманули меня, хотя я заранее и был подготовлен к этому: ведь никто из моих близких не мог быть предупрежден в течение такого короткого времени. Поэтому горечь этой минуты не вызвала во мне никаких несправедливых мыслей.

Итак, я спокойно выслушал приговор. Я знал его заранее, не думал о его содержании — этих несколько слов, — все перенесу. Я думал о другом. Жизнь показалась мне такой привлекательной, я видел ее глазами души, чувствовал ее полноту и слышал вечный гимн жизни. Защитник мой приветливо улыбался, посматривал на часы, торопясь в Судебную палату по другому, более серьезному делу. Он уверял, что я прекрасно выгляжу в сравнении с 1909 годом, когда он тоже защищал меня в Судебной палате. А я, не знаю почему, вспомнил вдруг, что унты из собачьего меха, в которых я бежал зимой из Сибири, были такие теплые и шерстью наружу. Я сказал ему об этом, и мы смеялись. Он думал про себя — какие же у него мысли, а я понимал его улыбку — человека с положением, и мне было весело. Ведь вернулся же я оттуда, хотя и в собачьей шкуре!

Сама поездка — дважды: за обвинительным заключением и на суд, после 20 месяцев заключения, собственное движение, хотя и не по собственной воле и в ручных кандалах, движение на улице, видимое через сетку и частую решетку из окна тюремной кареты, витрины магазинов (одна с цветами, с надписью: «Бордигера», — там, в настоящей Бордигере, я так недавно бродил пешком по берегу Средиземного моря в лунную ночь, уже после этого побега, сразу после него), рестораны и кафе («фляки» по четвергам и воскресеньям), трамваи (сколько денег я потратил на них, чтобы замести свои следы, и сколько проездил на них, прежде чем ехать так торжественно, как сейчас), лица детей (Ясик мой, что ты делаешь в эту минуту, такой ли ты уже большой, как вот этот, такие ли у тебя смеющиеся веселые глазки, так же ли, как тот, горишь желанием напроказить?) — все это хлынуло на меня, переполнило мою душу. И я был сам как ребенок, как во сне. Столько воспоминаний, столько красок, звуков, света, движения — все это слилось как будто в воспоминание о музыке, слышанной когда-то и пережитой. Радость жизни... В суровую, подчас ужасную жизнь поэзия вплетается через пламенную мысль. Мрак впитывает свет, как сухой песок впитывает влагу, а свет, проникая туда, где темно и холодно, и греет и озаряет. И вот в то время, как слова признанной поэзии отражают то, что сейчас уже умерло, что уже является ложью, родилась новая поэзия — поэзия действия, неизменного долга человеческих душ, отрицающая всякие трагедии, безвыходные положения, беспросветное отчаяние. Она отнимает трагизм даже у смерти и невыносимого страдания и окружает жизнь ореолом не мученичества, а безграничного счастья самой жизни, настоящей, своей...

Теперь я уже снова в камере, и уже не скоро опять вывезут меня. Потому что по статье 102-й следствие, как будто, снова затягивается, и я рассчитываю на то, что просижу тут еще с год, прежде чем все будет закончено. Однако сейчас, если мой защитник не ошибается, для меня лично это не имеет значения, так как исполнение приговора будет засчитываться с 12/V, то-есть со

дня вынесения приговора. А тут я так привык к тишине, что с некоторой опаской думаю об Арсенале[1]...

В 1909 году, когда меня туда свезли, я в течение 3-х суток глаз не сомкнул и чувствовал себя прямо-таки невменяемым. Я сидел в те дни в здании, куда через коридорное окно отчетливо доносился страшный шум улицы, грохот телег, пролеток, бесконечные трамвайные звонки. Только потом, когда меня перевели в другое отделение, подальше от улицы, я смог уснуть.

Зося, ты мне столько пишешь про Ясика, и я все читаю и перечитываю твои слова, снова к ним возвращаюсь, смотрю на фотографию, закрываю глаза, чтобы его вызвать в воображении. Иногда мне кажется, что я что-то уловил, улыбку, взгляд, точно его всего увидел, но образ сейчас же тает — и я не могу представить себе его голоса, роста, как он умственно уже развит, представить его всего целиком. Я знаю, что это напрасный труд. Но когда я читаю твои слова, когда думаю о нем, мне кажется, точно он где-то тут невидимый при мне и дает мне минуты счастья, поэтому я уж ни на что не жалуюсь и ничто меня не мучает. И снова жажду твоих слов о нем, и все мне их мало, а иначе не может быть. Но ты не отрывай часов от своего сна и отдыха для длинных и частых писем. И если будешь мне писать в открытках о нем, о себе, о жизни, то и так мне уж много дашь, ибо меня не будет мучить беспокойство и я буду счастлив, чувствуя, как он цветет, и улавливая из слов твоих темп жизни. Я так хотел бы видеть Ясенька, чувствовать его на руках своих, глазах, губах и сердце, слышать его щебетание и даже видеть слезы, пить улыбку его глаз, личика и губок. После приговора по статье 102-й или после вручения обвинительного заключения буду добиваться разрешения увидеть его без решеток. Я знаю, что в Арсенале или Мокотове[2] было бы легче добиться этого, чем тут, в павильоне, но я не хочу напугать Ясика арестантской одеждой и кандалами. Вид мой может оставить в нем на всю жизнь чувство страха, а мо-

---

[1] Арсенал — пересыльная тюрьма для каторжан и ссыльнопоселенцев в Варшаве. — Ред.

[2] Мокотов — каторжная тюрьма в Варшаве. — Ред.

жет быть, и отвращения ко мне. Ведь человека за этой одеждой так трудно разглядеть. Ясик мой, будь же терпелив, придет время, когда Фелек тебя сможет обнять, приласкать и поцеловать, и мы будем вместе. Папа тебе напишет, когда можно будет, когда ты подрастешь еще немного, будешь такой большой, что уже не будешь проситься на ручки, а будешь молодцом, ножки у тебя будут крепкие. А пока я пишу мамочке и тебе, зайчик наш, и помню о тебе и люблю тебя. Крепко, крепко тебя обнимаю, мое солнышко дорогое.

Сегодня (16/V) меня перевели в другую камеру. Мне жалко старой. Хоть она до сих пор и была довольно холодной (северная), и солнце лишь на закате посылало нам свои прощальные лучи, но когда под вечер (на час или полтора, до половины девятого) открывали окно для проветривания камеры, я видел Вислу, закат солнца. И глаза мои смотрели вдаль, — хоть они свободные. В течение всего этого времени я стоял у окна, почти не замечая решеток, отделявших меня от этой дали, широкой и вольной, и наслаждался отблесками неба и Вислы, молниеносным полетом ласточек и голубей, улетал мысленно отсюда, вбирал в себя жизнь и невозвратную молодость. Там я и о друге мог думать [1], а теперь и тебе не смогу излить своих горестей, как это было в письмах от 21/I и 21/IV [2]. Там была полная тишина, тут больше движения. Тут перед окном густая стена деревьев (каштанов). Я слышу их шум, и солнце у меня с часу дня до самого заката, хоть и сквозь листья деревьев. Камера сама суха и тепла. Так что тут я быстро привыкну. Обычно, когда меня переводят из камеры в камеру, я чувствую некоторую привязанность к старой. Но эта новая — моя старая знакомая с 1909 года и напоминает мне столько старых переживаний: они тебе знакомы [3].

---

[1] То-есть поддерживать связь и делиться, чем мог, с сидевшим в том же коридоре товарищем. — Ред.

[2] То-есть не будет иметь возможности посылать письма нелегальным путем, без прокурорской цензуры, как это было с письмами от 21/I и 21/IV. — Ред.

[3] Ф. Э. имеет в виду переживания, описанные в его тюремном «Дневнике». — Ред.

Передай самый сердечный привет всем товарищам от меня, напиши теплое письмо Веселовскому [1]. Когда мы с ним сможем обнять друг друга?

Крепко тебя обнимаю.
Твой Фел[*икс*]

А. Э. Булгак
[X павильон Варшавской цитадели] 2 июня (20 мая) 1914 г.

Дорогая моя Альдоночка, спасибо тебе за открытки (последняя от 2/V) с видами Вильно, вызывающими так много воспоминаний о моих детских и юношеских годах. А меня уже 3 недели тому назад осудили по первому делу — за побег из Сибири. Дали мне, как я и предполагал, 3 года каторжных работ. Я ожидал их, поэтому они не произвели на меня угнетающего впечатления, тем более, что по другому делу я получу больше (около 5 лет) и будет считаться лишь более суровый приговор, но не со дня ареста, а с 12/V, то-есть со дня первого суда. Таким образом, я теперь сижу уже не «впустую», а отсиживаю срок приговора. Сижу я все в X павильоне и просижу здесь до второго суда, то-есть, очевидно, еще около года. А потом меня переведут в другое место. Но кто не мечтает в моем положении, что произойдут какие-либо изменения и я раньше буду освобожден. Впрочем, я не думаю об этих ближайших моих годах — так же, как каждый человек знает, что его ждет неминуемая смерть, но не думает об этом, а живет, как будто он бессмертен, как будто смерть никогда не придет. Это — право жизни. А пока что я имел небольшое развлечение, когда сквозь решетку оконца тюремной кареты смотрел на уличное движение, слышал шум городской жизни, видел витрины магазинов, видел, как

---

[1] Бронислав Веселовский — член польской социал-демократической партии, потом РКП(б), находился тогда на каторге. В декабре 1918 года, являясь главой миссии советского Красного Креста в Польше, был зверски убит польскими реакционерами. — Ред.

продают гробы, а рядом магазин цветов с Ривьеры под громким названием «Бордигера». Бордигера... я там был. Я шел лунной ночью пешком из Бордигеры по берегу Средиземного моря, через итало-французскую границу в Монте-Карло. Как сегодня, я вижу эту дорогу и море, посеребренное лунным светом, эти взгорья, пальмы, этот воздух, насыщенный запахом цветов, и мимозы.

Все это — минувшее. Но оно было — и осталось в душе, которая полна песнью наших лесов и лугов, и туманами, и росой по утрам, и нашими песками. Она полна любовью и верой [в лучшее будущее человечества], в ней — и печали наши и вся последующая жизнь. И чем ужаснее ад теперешней жизни, тем яснее и громче я слышу вечный гимн жизни, гимн правды, красоты и счастья, и во мне нет места отчаянию. Жизнь даже тогда радостна, когда приходится носить кандалы. Поэтому не печалься и ты — жизнь такова. Но я, кажется, забыл передать тебе сердечную благодарность от моего товарища по камере за пожелания, которые ты ему пересылала, когда была у меня на свидании.

Теперь я опять сижу не один, а с молодым рабочим, симпатичным в общежитии человеком. Мы вместе с 10 апреля, а еще не надоели друг другу. Камера наша теперь западная, и хотя Вислы я уже не вижу, зато солнце у нас с 2 часов дня. О Ясике я имел в последнее время очень хорошие известия. Малыш здоров и хорошо развивается; весна так его радует, что когда мать взяла его в праздники за город, он точно опьянел от впечатлений.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской [1]

[X павильон Варшавской цитадели] 24(11) июня 1914 г.

Зося, моя дорогая!

Не знаю, получили ли вы мои письма от 22/V и

---

[1] Это письмо было отправлено нелегальным путем. — Ред.

21/VI и довольно ли ясно я написал. Если не все ясно, то я могу повторить неясные места, но я должен знать, дошли ли письма [1]. Не обижайся на меня, Зося, что я так долго не писал. Думы мои постоянно с вами. То, что поддерживает мои моральные силы, — это мысли мои о нашей общей работе. Я хочу быть достойным тех идей, которые мы оба с тобой разделяем. И кажется мне, что любое проявление слабости с моей стороны, жажда конца и покоя, каждое «не могу больше» было бы изменой и отрешением от моих чувств к вам и к той песне жизни, которая жила и живет во мне...

Когда я думаю о малютке нашем любимом, о Ясике, меня заливает волна счастья. Но в то же время мучает мысль, что вся тяжесть воспитания легла на одну тебя, что оно отнимает много времени, даже почти целиком поглощая тебя, тогда как я ничем помочь не могу. Ведь чувства мои, мысли мои передаешь ему ты, он знает меня и обо мне от тебя, ибо мир наших мыслей — твоих и моих — один и тот же. И то, что я нахожусь сейчас тут, где ты была с ним, и смысл этого не исчезнет для него. Он чувствует теперь, а скоро поймет и впитает наши мысли. И память о том, где он родился [2], и понимание причины этого останется у него навсегда, углубляя смысл его жизни. Эта память может стать для него решающей и определить его жизнь, если не испортится у него характер и он не превратится в типичного современного интеллигента, слова и мысли которого большей частью являются лишь «поэзией» жизни, декорацией, не имеющей ничего общего с его поступками, с его действительной жизнью.

В современном интеллигенте — два обособленных, почти не соприкасающихся друг с другом мира: мир мысли и мир действий, тончайший идеализм и грубейший материализм. Современный интеллигент совершенно не видит ни окружающей его действительной

---

[1] Письма по партийным вопросам, дважды зашифрованные, написанные химическим способом. — Ред.

[2] Сын Ф. Э. родился в тюрьме. — Ред.

жизни, ни своей собственной. Не видит, потому что не желает видеть. Слезы при виде игры на сцене — и полное равнодушие, а то и жесткий кулак на практике, в жизни. Вот поэтому-то так важно внушить Ясику отвращение и омерзение ко лжи и комедиантству, весьма распространенным среди детей, берущих пример с нашего общества... Но лжи, источником которой являются социальные условия, устранить нельзя, и ограждать Ясика от этих условий не следует. Он должен познать и осознать их, чтобы проникнуться чувством отвращения ко лжи, или понять необходимость и неизбежность лжи, когда источником ее являются чистые и социальные побуждения, когда ложь необходима в борьбе за более глубокую и более возвышенную жизнь. Не тепличным цветком должен быть Ясь. Он должен обладать всей диалектикой чувств, чтобы в жизни быть способным к борьбе во имя правды, во имя идеи. Он должен в душе обладать святыней более широкой и более сильной, чем святое чувство к матери или к любимым, близким, дорогим людям. Он должен суметь полюбить идею, — то, что объединит его с массами, то, что будет озаряющим светом в его жизни. Он должен понять, что и у тебя и у всех окружающих его, к которым он привязан, которых он любит, есть возлюбленная святыня, сильнее любви к ребенку, любви к нему, святыня, источником которой является и он, и любовь, и привязанность к нему. Это святое чувство сильнее всех других чувств, сильнее своим моральным наказом: «Так тебе следует жить, и таким ты должен быть». Сознания этого долга, как и всякого, связанного с чувством, нельзя внушить, действуя только на разум... Я помню вечера в нашей маленькой усадьбе, когда мать при свете лампы рассказывала, а за окном шумел лес, как она рассказывала о преследованиях униатов[1], о том, как в костелах заставляли

[1] Униаты — часть белорусов и украинцев, признававших унию (объединение) католической и православной церкви под верховенством римского папы и гонимых за это русским царизмом, который насилием и расстрелами хотел их принудить отречься от униатской церкви и признать православную церковь. — Ред.

петь молитвы по-русски на том основании, что эти католики были белорусами; помню ее рассказы о том, какие контрибуции налагались на население, каким оно подвергалось преследованиям, как его донимали налогами, и т. д. и т. п. И это было решающим моментом. Это повлияло на то, что я впоследствии пошел по тому пути, по которому шел, что каждое насилие, о котором я узнавал (например, Крожи[1], принуждение говорить по-русски, ходить в церковь в табельные дни, система шпионажа в школе и т. д.), было как бы насилием надо мною лично. И тогда-то я вместе с кучкой моих ровесников дал (в 1894 г.) клятву бороться со злом до последнего дыхания. Уже тогда мое сердце и мозг чутко воспринимали всякую несправедливость, всякую обиду, испытываемую людьми, и я ненавидел зло. Но итти мне пришлось ощупью, без руководства, без указаний от кого-либо, и мои сердце и разум, пробиваясь к этой моей святыне, много утратили, много растеряли. Но у Ясика — ты и все мы, ему не придется итти ощупью, и он обретет свою святыню как наследие от нас. Но одного сердца недостаточно. Необходимы социальные условия, которые дадут ему возможность осознать это наследие и перенять его. Эти условия сильнее сердца... Только в среде угнетенных нет разлада между старшим и младшим поколением. И только в этой среде растет, крепнет и распространяется, как непреодолимая сила, наша идея, без лицемерия, без противоречий между словом и делом. И поэтому я часто возвращаюсь к мысли, что когда Ясик уже будет в соответственном возрасте, для него такая среда будет более всего полезной. Теперь, может быть, преждевременно говорить об этом, но этот вопрос все время у меня в голове. Я так хотел бы, чтобы он был интеллигентным, но без «интеллигентщины». В настоящее время интеллигентская среда убийственна для души. Она влечет и опьяняет, как водка, своим мнимым блеском, мишурой, поэзией формы, слов,

---

[1] Крожи — местечко в Литве, где в 1893 году царская полиция и казаки устроили массовую резню населения за отказ признать православную церковь. — Ред.

своим личным чувством какого-то превосходства. Она так привязывает к внешним проявлениям «культуры», к определенному «культурному уровню», что когда наступает столкновение между уровнем материальной жизни и уровнем духовной жизни, потребности первой побеждают, и человек сам потом плюет на себя, становится циником, пьяницей или лицемером. Внутренний душевный разлад уже никогда не покидает его.

Возможно, что все это, о чем я теперь думаю, — дикое варварство. Отказываться от жизненных благ, чтобы бороться за них вместе с теми, которые их лишены, и прививать в настоящее время своего рода аскетизм. Но эти мысли не оставляют меня, и я делюсь ими с тобой. Я — не аскет. Это лишь диалектика чувств, источники которой — в самой жизни и, как мне кажется, в жизни пролетариата. И весь вопрос в том, чтобы эта диалектика совершила весь свой цикл, чтобы в ней был синтез — разрешение противоречий. И чтобы этот синтез, будучи пролетарским, был одновременно «моей» правдой, правдой «моей» души. Надо обладать внутренним сознанием необходимости итти на смерть ради жизни, итти в тюрьму ради свободы и обладать силой пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе взятый из этой жизни великий, возвышенный гимн красоты, правды и счастья. И когда ты пишешь мне, что Ясика приводит в восторг зелень растений, пение птиц, цветы, живые существа, — я вижу и чувствую, что у него есть данные для того, чтобы воздвигнуть в будущем здание этого великого гимна, если условия жизни объединят в нем это чувство красоты с сознанием необходимости стремиться к тому, чтобы человеческая жизнь стала столь же красивой и величественной... Я помню, что почти всегда красота природы (в звездную летнюю ночь лечь на краю леса, что-то тихо шепчущего, и смотреть на эти звезды; в летний день лечь в сосновом лесу и смотреть на колеблющиеся ветви и на скользящие по небу облака; в лунную ночь на лодке выехать на середину пруда и вслушиваться в тишину, не нарушаемую ни малейшим шорохом, и— столько, столько этих

картин), красота природы вызывала во мне мысли о нашей идее... И от этой красоты, от этой природы никогда не следует отказываться. Она — храм скитальцев, у которых нет уютных «гнездышек», усыпляющих и убаюкивающих всякий более широкий порыв души. А те, которые в настоящее время теряют собственный очаг — обретают весь мир, если они идут по пути пролетариата. И если Ясик сумеет обойтись без этой эстетики «гнездышек», свойственной в настоящее время интеллигентской среде, и если у него сохранится в душе чувство и понимание красоты, причем понятие «мое» будет у него совпадать с понятием «дорогие», если он не будет чувствовать потребности присвоить себе красоту — «присвоить» в купеческом значении этого слова, а будет считать весь чудесный мир своим, тогда он будет самым счастливым человеком, тогда он будет более всего творческим.. И я мечтаю: если он способен видеть, слышать и чувствовать, быть может впоследствии, когда он вырастет, жизнь еще более заострит его зрение и слух и расширит чувство любви к людям, и он в действительности сольется с миллионами, поймет их, и их песнь станет его песнею, и он проникнется музыкой это песни и поймет, осознает подлинную красоту и счастье человека. Он не будет поэтом, живущим на счет поэзии, он свою песню создаст, живя общей жизнью с миллионами. Я грежу о том, что ему не суждено быть современным интеллигентом-калекой, что в нем могут объединиться черты совершенного человека. Мечты! Но может возникнуть вопрос, что лучше: калека-интеллигент или калека-рабочий... И рабочий ведь калека. Но с каждым годом искалеченность рабочего становится меньше, а искалеченность интеллигента — больше... Момент победы близится. Да и теперь искалеченность рабочего, по своему характеру, совершенно другая. Это искалеченность, навязанная ему гнетом и насилием, а следовательно, такая, с которой он борется. А искалеченность интеллигента самому интеллигенту кажется его превосходством над другими, — и она неизлечима.

Твой Фел[икс]

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 29(16) июня 1914 г.

Зося, моя дорогая!

Сегодня мое письмо будет кратким, так как, не имея еще твоего нового адреса, боюсь, что мое письмо не дойдет. Кроме того, я снова выведен из относительного равновесия. После такого длительного заключения любой пустяк выбивает из колеи и утомляет. Вот, наконец, закончилось следствие по второму моему делу — по 102-й статье, и нам зачитали следственные материалы. Продолжалось это с пятницы до сегодняшнего дня включительно — 4 дня по 5 часов ежедневно. Отсюда усталость, не говоря уже о других причинах, связанных с ознакомлением с материалами следствия [1].

Но скоро снова мое равновесие вернется ко мне. Суд будет не раньше, чем в январе. В общем чувствую себя неплохо, физически я совершенно здоров. Разъедает только столь длительная бездеятельность и то, что я не могу быть полезным. Но что об этом говорить. Часто даже думать об этом не могу. Неумолимая необходимость, с которой никогда нельзя примириться, не превращаясь в кусок бревна. Жду вестей о том, как ты проведешь лето, как тебе удастся устроиться.

Меня очень радует, что нашего Ясика так восхищает природа, что у него есть слух, что и лес, и цветы, и все богатство природы его так интересуют. Ибо кто чувствует красоту, тот может уловить и понять сущность жизни настоящего человека. Ведь ему исполнилось еще только три года, а он уже впитывает те лучи, из которых будет в течение всей жизни черпать радость и отдавать ее другим. Я сам помню из времен своего детства эти минуты невыразимого блаженства, когда, например, положив голову на колени Альдоны, я слушал по вечерам шум леса, кваканье лягушек, призывной крик дергача и смотрел на звезды, которые так

[1] Ф. Э. хотел этим сказать, что зачитанные материалы подтверждали его подозрения о провокации. — Ред.

мерцали, точно это были живые искорки... Сейчас ко мне возвращаются воспоминания моего детства, минуты подлинного счастья, когда природа так меня поглощала, что я почти не чувствовал своего существа, а чувствовал себя частицей этой природы, связанной с ней органически, будто я сам был облаком, деревом, птицей. Видел ли когда-нибудь Ясик, как искрятся и мерцают звезды?

Малышка он еще, и спать ему в это время уже пора, но с каждым годом мир будет перед ним раскрывать все новые и новые свои богатства.

Когда я вспоминаю гимназические годы, которые не обогатили моей души, а сделали ее более убогой, я начинаю ненавидеть эту дрессировку, которая ставит себе задачей производство так называемых интеллигентов. И светлые воспоминания мои возвращаются к дням детства и перепрыгивают через школьные годы к более поздним годам, когда было так много страданий, но когда душа приобрела столько новых богатств...

Уже поздно. Завтра утром возьмут письма, поэтому кончаю. Пишу так хаотически потому, что я устал, не могу сосредоточиться, но за письмом, думая о вас, я забыл обо всем, что так разрывало душу во время чтения следственных материалов; я отдыхаю душой, и силы возвращаются снова.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[X павильон Варшавской цитадели] 20(7) июля 1914 г.

Дорогая моя Зося!

У меня ничего нового не произошло. В камере духота, жарко и трудно не только что-нибудь делать, но даже думать.

Моему товарищу по камере на прошлой неделе объявили, что его отпускают под залог в 200 рублей. Он очень обрадовался, но до сих пор находится со мной в камере, а не на воле. Каждая минута поэтому тянется для него бесконечно, и ежедневно с утра до вечера он все ждет: вдруг сегодня, сейчас придут за ним со сло-

вами: «со всеми вещами». Я его успокаиваю и спрашиваю, шутя, что у него там, собственно, на воле хорошего, что он так рвется туда, не лучше ли ему тут, где из-за решеток эта воля кажется такой заманчивой, привлекательной, прекрасной, а когда выйдет, ему сразу придется впрячься в ярмо, и оно закроет перед ним весь мир, так что не раз еще, пожалуй, затоскует по тишине нашей каменной камеры. Это шутки, конечно, а на самом деле я сам тоже переживаю его ожидания, хотя еще болезненнее чувствую, как отодвигается для меня в бесконечное такая минута. Как будто я о воле уже только могу мечтать и гоню от себя возникающие иногда в воображении картины из жизни, потому что тогда именно чувствую великую жажду свободы, а сорвать цепи не в моих силах. Поэтому гоню от себя эти образы. А потом, потом, когда наступит эта минута... Я думаю о ней сейчас с некоторым опасением. Всегда, когда я в заключении, мне кажется, что я уже не сумею жить, что не сумею уже ни улыбнуться, ни что-нибудь сделать. Невыносимая жара настраивает меня сегодня так невесело. Но в действительности решетка не только отнимает силы, но заостряет зрение и чувства, и когда я тут вдумываюсь в ту жизнь на воле, она кажется мне сумасшедшим домом, хотя могла бы быть такой прекрасной, простой и легкой. И понимаю всю наивность этого «бы».

Пишу после получасового перерыва. Как раз пришли за товарищем по камере и увели его. Родные уже ждали его у павильона. Он уже среди своих после почти полуторагодичной разлуки.

Пока я останусь один и в течение некоторого времени не буду добиваться товарища к себе. Однако долго не захочется оставаться одному. Я тогда слишком много думаю о себе, а мне хотелось бы быть как можно дальше от себя. Обычно я спасаюсь мыслью о нашем Ясеньке и о творческой работе. Поэтому каждое слово, каждая весть от тебя для меня тут — все. На время ремонта меня перевели вниз, и я иногда вижу играющих детей. Тоска и обида охватывает меня, что не могу Ясика прижать к себе и обнять. Я просил разрешения попрощаться с ним перед окончательным приговором.

Согласились и препятствий чинить не будут, хочу еще только удостовериться, разрешат ли мне видеть его без решеток. А приговор будет вынесен, вероятно, не раньше января. Ясик подрастет немного и, может быть, запомнит эту минуту, а для меня это будет счастьем на все годы моего заключения. Я тебе об этом напишу еще более точно. А пока целую его и прижимаю к сердцу, моего сыночка любимого.

Как малыши сейчас ведут себя друг с другом?

Отца Янечки [1] обнимаю сердечно, сердечно. Как здоровье Леоси [2], как дела у нее?

Я слышал, что Юленька заболела скарлатиной [3]. Прошло ли это бесследно?

Твой Фел[*икс*]

А. Э. Булгак

[Мценск, Орловской губернии] [4] 7 сентября (25 августа) 1914 г.

Дорогая моя Альдона!

Прости, что так давно не писал тебе, но, как видишь, нахожусь теперь в глубине России, и за это время пришлось много странствовать, пока не очутился в тюрьме города, о существовании которого мне до этого пришлось слышать лишь пару раз. Но расскажу тебе, милая, все по порядку. Уже в конце июля по старому стилю, когда война уже висела в воздухе, нам говорили в X павильоне, что, по всей вероятности, нас

---

[1] Отец Янечки — Адольф Варский — видный руководитель СДПиЛ, а потом Коммунистической партии Польши. — Ред.

[2] Леося — Лео Иогихес — один из руководителей социал-демократии Польши и Литвы, зверски убитый в 1919 году германскими реакционерами. — Ред.

[3] Условное выражение. Ф. Э. имел в виду арест одного из руководителей социал-демократии Польши и Литвы, Юлиана Мархлевского, в Германии. — Ред.

[4] В связи с началом империалистической войны 1914—1918 годов все политические заключенные из Варшавы и других городов Польши были переведены в Россию. Ф. Э., приговоренный к трем годам каторги, был направлен в Орловский каторжный централ. До этого он сидел некоторое время в городе Мценске под Орлом и в Орловской губернской тюрьме. — Ред.

на-днях переведут в другую тюрьму, что, возможно, нас — политических заключенных — освободят. Прекратились свидания и передача посылок. 26 июля нас — подследственных — перевели в Мокотовскую тюрьму со всеми вещами, которых за долгое мое заключение набралось немало. Здесь нас переодели в казенное белье и платье и 28 июля отправили поездом в город Орел. Ехали мы трое суток. Как утомила эта дорога, писать не стоит. В Орле поместили меня вместе с остальными заключенными из X павильона в общую громадную камеру. Здесь нам уже разрешили переодеться в собственное белье и одежду, но оказалось, что все наши вещи утеряны, что неизвестно, где они, и мы оказались без собственного белья, платья, без подушки и одеяла, без книжек. Неизвестно, найдутся ли когда-нибудь эти вещи. В Орле, как нам сказали, мы должны были недолго оставаться. И действительно, спустя 3 недели меня переслали в Мценскую уездную тюрьму, где, кажется, буду ожидать окончательного решения моей судьбы. Тяжело жить — прозябать в таких условиях, без книг, без всяких известий о своих; но желание жить, перенести все и еще увидеть вас и моего Ясика, побывать в Дзержинове и т. д. настолько сильно, что надеюсь преодолеть все трудности и вернуться еще к жизни. Теперь я не сомневаюсь, что скоро, скоро уже буду свободен [1].

Твой Феликс

А. Э. Булгак

[Мценск, Орловской губернии] 20(7) октября 1914 г.

Альдона, моя милая!

Третьего дня я получил отрезной купон [2] с твоим письмом, а деньги (25 рублей) — десять дней назад.

За все сердечно тебе благодарен. Но почему, дорогая, ничего не пишешь о себе и детях? Наверное, ты

---

[1] Ф. Э. был убежден, что война приблизит революцию, которая его освободит. — Ред.

[2] Денежного перевода. — Ред.

и теперь так же занята, как и раньше, и, может быть, еще больше у тебя горя и забот. Пиши мне много о себе, как только время позволит. Как тебе живется теперь во время этой страшной войны, многие ли из наших родных и близких призваны в армию и вздорожала ли жизнь у вас? Охватывает ужас, когда подумаешь, что должно происходить теперь в Польше, сколько горя, страданий и опустошений. Я должен отгонять от себя эти мысли и картины. Правда, человек может ко всему привыкнуть, тогда он просто теряет способность чувствовать, видеть и слышать — и поэтому я знаю, что в действительной жизни переносят всякие безумия и ужасы. Действительность — это переживание момента за моментом, каждого в отдельности, и каждый из них подготовляется предыдущим; но когда мысль все это охватит сразу и видит целое, человека охватывает ужас, и он должен перестать думать, чтобы не сойти с ума. Бессмысленность моей теперешней жизни — полное бессилие моих дум и чувств, их ненужность — прямо душат меня. Нечем здесь забыться. Варишься в собственном соку, и порой кажется от этого вечного напряжения, что становишься неспособным мыслить, чувствовать и работать; ненавидишь самого себя, и злоба кипит в душе. Прости меня, Альдона моя, за эти настроения, но за ними скрывается ведь и надежда моя и силы мои, живо еще пламенное желание жить, и я не могу примириться с той бессмыслицей, которая не только опутала тело, но хочет убить и душу. Всякое отчаяние так далеко от меня, и ты, думая обо мне, помни об этом. В человеке столько сил, и жизнь влила в него столько светлого и радостного и столько разумного, что оно может пересилить все — даже ужас смерти. Все и всех понимать и всегда видеть добро и ненавидеть зло. Понимать и страдания и боль — как свои, так и других, и иметь в душе гордость пережить все, что выпадет в жизни на твою долю. А самое великое счастье в жизни человека — это те чувства, которые ты можешь дать людям и люди тебе — твои близкие и далекие, тебе подобные. И поэтому, моя дорогая, я тебе так благодарен за твои теплые слова, и всегда, когда мне тяжело, эти слова дают мне

столько сил и желания перенести все и вернуться. Как долго мне придется здесь сидеть — неизвестно, должно быть до окончания войны, которая, я думаю, не может долго еще продолжаться.

Твой Феликс

А. Э. Булгак

[Орел, Губернская тюрьма] 29(16) октября 1914 г.

Дорогая моя, милая Альдона.

Мою телеграмму из Мценска ты, наверное, получила. Дело в том, что мой приговор за побег из Сибири вошел в законную силу, и, может быть, меня отправят отсюда еще в другую тюрьму. Во всяком случае, я здесь пробуду еще, по крайней мере, несколько недель и думаю, что письмо твое еще застанет меня здесь. Я получил также открытку из Варшавы, но о Ясике и Зосе ни слова. Не беспокойся обо мне, милая, я выдержу все и вернусь.

Твой Феликс

А. Э. Булгак

[Орел, Губернская тюрьма] 15(2) ноября 1914 г.

Альдона моя милая, дорогая!

Неделю тому назад я получил твое заказное письмо с карточкой Ясика и так обрадовался — луч света проник в камеру, и улыбка снова могла появиться на моем лице. А пару дней тому назад я получил письмо из Варшавы: мне пишут, что Зося с Ясиком находятся в Закопане, живы и здоровы. Она сама не пишет, так как письма из-за границы не доходят. Попроси Стася, чтобы он подписался для меня с 1/XI (по русскому стилю) на «Правительственный вестник». Теперь, во время войны, разрешают выписывать эту газету. Я все думаю, что мне уж не придется так долго сидеть, как я думал. А пока здоровье сносное, и, может быть, скоро вернусь к вам и буду иметь право, не скрываясь, видеть вас и хоть на короткое время побывать в нашем Дзержинове, куда так часто собирался. Напиши мне, дорогая, как война отозвалась на твоей и вашей жизни

в Вильно, ведь мы здесь в тюрьме прямо сгораем от нетерпения в ожидании известий. Здесь в Орле довольно хорошая библиотека (присылать сюда книг не нужно), и я недавно читал описание франко-прусской войны Мирбо — прямо потрясающе. И мыслью я переносился в Польшу и в ту часть Литвы, где разыгрывается теперешняя война и льются кровь и горячие слезы. Там — ужас и безумие, а здесь приходится мысленно переживать, а это подчас тяжелее, чем сама действительность. Здесь, в губернской тюрьме, мне придется сидеть, во всяком случае, еще каких-нибудь полтора-два месяца, пока не перешлют в каторжную, хотя вообще неизвестно, перешлют ли теперь, ввиду моего незаконченного второго дела. Я писал по этому поводу в Тюремную инспекцию, но пока ответа не получил. Здесь тяжелее и хуже, чем в X павильоне, но ведь человек может ко всему привыкнуть, а стольким теперь тяжелее, чем нам здесь. Эта мысль заставляет стыдиться собственной слабости и малодушия и дает силы, чтобы когда-нибудь, когда выйдешь отсюда, быть полезным и работоспособным.

Твой брат Феликс

А. Э. Булгак
[Орел, Губернская тюрьма] 30(17) ноября 1914 г.

Моя милая Альдона!

Я писал тебе две недели тому назад, получила ли ты мое письмо? Я послал его без марки, не мог достать. Теперь пишу снова, может быть прошлое мое письмо не дошло и ты беспокоишься, а у меня все уже хорошо, поскольку здесь вообще может быть хорошо. Отец Зоси писал из Люблина, что Зося с Ясиком в Закопане, что они живы и здоровы и что у нее были средства, когда она уезжала туда, а я так беспокоился. Я думал, что она в Варшаве, и ее молчание так меня беспокоило. Из Закопане письма не доходят в связи с войной, и поэтому я не имел ни слова от Зоси. А из Варшавы мне уже пишут. Выжидание вестей о войне — скоро ли кончится весь этот ужас — и собственная бездеятельность наводят тоску. Мой первый приговор,

как я и ожидал, не будет теперь приводиться в исполнение, пока не решат моего второго дела по 102-й статье. Придется пока до окончания войны сидеть и терпеливо выжидать. Терпения хватит у меня, — порой кажется, что я уже весь превратился в само терпение без всяких желаний и мыслей, и завидую тем, кто страдает и обладает живыми чувствами, хотя бы самыми мучительными. Буду ждать: может быть, тепешние столь ужасные дни принесут потом утешение. Через год-два слезы забудутся, и снова жизнь пышнее зацветет там, где теперь только ручьи крови. Я твердо надеюсь, что вскоре уж буду свободен и тогда воспользуюсь добротой Стася, а теперь пусть он меня простит за напрасные пока хлопоты и издержки. Письмо от Стаси я получил и писал ей две недели тому назад в Дзержиново; наверное, скучно и тоскливо ей там будет зимой, одной с детьми, без Игнася. А я не помню уже нашего Дзержинова в зимнюю пору — и всегда, когда думаю о нем, оно в мысли соединяется с летом. Я писал уже, что получил твое письмо от 16/X и карточки Ясика. Спасибо сердечное.

Твой Феликс

А. Э. Булгак[1]

[Орел, Губернская тюрьма] 31(18) декабря 1914 г.

Дорогая моя Альдона, сегодня я получил твое сердечное письмо с фотографиями моего Ясика. Хочу сразу сегодня ответить тебе, пользуясь возможностью отослать письмо. Когда чувствуешь дружескую руку, когда вспоминаешь радостные минуты, когда получаешь сердечные слова, даже нынешние страдания теряют свое напряжение, и снова возвращается жажда жизни и веры в себя. Так тяжело здесь сидеть теперь — бесполезным и бездеятельным, когда там гораздо хуже, чем здесь, ибо кажется мне, что скоро зло будет побеждено и что мои силы и мысли могли бы пригодиться. Будет объявлена война войне, и она навсегда устранит источники ненависти. Поэтому-то сегодня моя мысль

[1] Письмо отправлено нелегальным путем. — Ред.

бежит ко всем, кого я люблю и кому хотел бы дать счастье, которое питается уверенностью, что любовь победит и будет хозяином земли. И мне кажется сегодня, что мы живем в такое время, когда ненависть, доведенная до предела, обанкротится и утонет в собственной крови. Можно ли представить себе что-либо более чудовищное, чем эта бойня? Я думаю только о ней, и я хотел бы послать мои новогодние пожелания тем миллионам, которые идут на бойню вопреки своей воле. Безнадежно тоскливо было бы жить сейчас, и здесь и там, на свободе, если бы не эта уверенность, что придет царство правды, любви и счастья. Сегодня я мыслями с вами. Пишу уже лежа ночью, ибо утром я должен отослать это письмо, а днем я написать не мог. Не беспокойся обо мне, Альдона, дорогая, я здоров и надеюсь, что вернусь здоровым и что буду иметь силы жить так, как подсказывает мне моя совесть. Как долго здесь пробуду, не знаю. Здесь ходит много слухов, но они ни на чем не основаны, кроме желания выйти на свободу. Я, впрочем, тоже надеюсь, что в этом, 1915, году выйду уже на свободу. А пока — день за днем — время проходит быстро. Уже почти 5 месяцев прошло, как я уехал из Варшавы.

Твой Феликс

С. Г. Мушкату [1]

[Орел, Губернская тюрьма] 29(16) января 1915 г.

...Я ужасно беспокоился, не получая так долго никаких вестей от Зоси и Ясика; с отъездом моим в Орел все сразу как-то вдруг оборвалось. После долгого выжидания я, наконец, получил письмо ваше, а затем открытку. Пожалуйста, пишите мне все, что только будете знать о Ясике и Зосе. Я знаю, что им не может быть хорошо, ведь кому теперь может быть хорошо, когда ужас стал «насущным» хлебом.

Я знаю, что Зося не боится горя и перенесет мужественно все, но мысль о крошке нашей — Ясике —

---

[1] Сигизмунд Генрихович Мушкат — отец С. С. Дзержинской. — Ред.

сильно беспокоит меня, и я так хотел бы знать о нем все изо дня в день. Мечты — я знаю. Сестра Альдона прислала мне старые фотографии Ясика, и я опять имею его теперь при себе. Не знаю, известно ли вам, что когда нас перевозили сюда, в Орел, все вещи наши по дороге пропали, и вместе с ними и все фотографии. У меня все сравнительно хорошо: имею все, что можно здесь иметь, и здоровье до сих пор не покидало меня. Хотя в общем тяжело: столько людей здесь, сижу теперь вместе с 70-ю другими тоже из Варшавы. Всякий измучен, с расстроенными нервами на почве бессмысленной тюремной жизни, вдали от своих и в вечной тревоге за них, с постоянным выжиданием, что что-то должно произойти важное, всю нашу жизнь долженствующее изменить. И все это при общем жалком недостаточном питании и всевозможных лишениях. Стараемся осмыслить эту жизнь занятиями и чтением. Разрешено нам иметь карандаши и тетради, и многие учатся писать и математике. Здесь довольно сносная библиотека. Время проходит очень быстро, и надеюсь, что скоро пройдет — и тогда забудется все. Пишите мне, дорогие, о себе и о жизни в Люблине. Как отразилась на жизни у вас война? Я получаю — брат выписывает мне — «Правительственный вестник». Эту газету нам разрешается получать, и, таким образом, я не совсем отрезан от мировых событий.

А. Э. Булгак [1]

[Орел, Губернская тюрьма] 28(15) марта 1915 г.

Дорогая моя Альдона!

Спешу написать тебе письмо, так как есть возможность послать его. Открытку с видом собора, отправленную 19/II, я на-днях получил, большое тебе спасибо. Поблагодари Стася за «Правительственный вестник», на который он для меня подписался до мая. Наверное, я останусь здесь еще долго, хотя точно ничего неизвестно.

---

[1] Письмо отправлено нелегальным путем. — Ред.

Мое дело уже находится в Судебной палате, и возможно, что скоро будет суд, в таком случае меня вышлют в Варшаву. Эта неопределенность неприятна, но я уже успел привыкнуть и стать безразличным ко всем этим «удовольствиям». Сегодня не хочется ни о чем думать — такой чудесный солнечный день, солнечный свет заливает нашу камеру, а за окном широкое небо, город, а дальше — поля. Все покрыто белым свежим снегом. А там, из-под окна снизу, звон кандалов — это прогулка каторжников. Через неделю уже праздники. Везде страдания, тяжелый труд и нужда. Единственное светлое — это наши чувства, мечты и уверенность, что грядет лучшее завтра. Посылаю тебе самые сердечные пожелания и объятия. Несмотря ни на что, я уверен, что мы увидимся еще в иных условиях, когда мне больше не нужно будет скрываться и когда работа и муки мои и миллионов других дадут свои плоды...

Я чувствую себя здоровым и сильным, несмотря на все невыносимые условия. Теперь здесь свирепствует брюшной тиф, говорят, что уже умерло много политических заключенных. Точно мы этого не знаем, так как больных сейчас же переводят отсюда в бывшую женскую тюрьму, расположенную рядом, но совсем изолированную от нас. Условия для лечения здесь прямо-таки ужасные. Врача Рыхлинского называют палачом... Никаких лекарств, кроме порошков, больным не дают. Трудно даже увидеть или вызвать фельдшера: больных с высокой температурой оставляют по 5 дней в камере без всякой врачебной помощи. Неудивительно, что здесь так часто умирают наши, особенно из Ченстохова, Лодзи, Домбровского бассейна, те, кто не может получать из дома никакой помощи. Уже умерло шестеро наших, из них пятеро от чахотки... Камера, где я сижу, солнечная, и у нас образовалась сплоченная группа из товарищей, с которыми я живу. Я помогаю другим учиться, и время очень быстро проходит. Обо мне поэтому не беспокойся, дорогая. Мы выписываем себе сало, солонину, немного сыра, селедки — и нам хватает этого. Чувствуем себя хорошо — так мало нужно человеку. Значит, будь спокойна за меня. Я теперь

получаю письма и известия из Варшавы, получил также от Зоси две новые фотографии Ясика и письмо, в котором она пишет, что он развивается нормально и такой милый; я радуюсь этому и чувствую себя хорошо. Своих вещей мы еще не получили: железнодорожные власти не хотят их выдать из-за каких-то формальностей, а может быть, потому, что требуют от тюремной администрации уплаты стоимости восьмимесячного их хранения. Поэтому мы опять будем жаловаться, а пока большинство ходит без подметок, так как в тюрьме нет кожи, и говорят, что нет ее и на воле. Почти все кашляют, на прогулку не ходит и половина, у всех вид зеленый и желтый. Жалобы не помогают. Был у нас какой-то высший инспектор, который ответил, что на войне солдаты еще хуже обуты. Дорогая, если меня отправят в другую тюрьму, я постараюсь переслать тебе мои личные письма; может быть, ты сохранишь их для меня, а то в этапе письма очень часто выбрасывают, а я хотел бы некоторые из них сохранить.

P. S. У нас здесь ходят слухи о холере в Варшаве, может быть, ты слышала что-либо об этом? Напиши мне, не называя болезни, так как иначе письмо может не дойти. Многие из нас имеют свои семьи там и страшно беспокоятся. Еще раз целую тебя.

Твой Феликс

С. Г Мушкату [1]
[Орел, Губернская тюрьма] Март 1915 г.

Я получил 2 письма от Зоси от 15/I и 5/II — последнее с 2 карточками Ясика. Я счастлив, что опять хоть письменно с моими близкими.

Я так редко пишу, ибо тяжелая однообразная жизнь окрашивает в слишком серые тона мое настроение. И когда я думаю о том аде, в котором сейчас вы все живете, мой собственный ад кажется мне таким малым, что не хочется о нем писать, хотя и он сильно донимает, иногда даже слишком сильно.

---

[1] Письмо отправлено нелегальным путем. — Ред.

То, что вы узнали о наших условиях, — это правда. Условия эти прямо-таки невыносимы. В результате этих условий ежедневно кого-нибудь вывозят отсюда... в гробу. Из нашей категории[1] умерло уже в течение 6 последних недель пять человек, все от чахотки. Троим из них давно уже назначили место поселения, но их не вывозили, так как в течение семи месяцев не успели привести в порядок «бумаги». Все они были привезены сюда из Петрокова, помощи из дому у них, конечно, не было никакой, так как семьи их находятся уже за пределами государства[2], а здешние условия убийственны. В последнее время, вследствие этих условий, многие заболели брюшным и сыпным тифом. Говорят, что ежедневно хоронят двоих-троих и что с 5 февраля (старого стиля) по 4 марта умерло 30 человек. Тех, которые заболевают тифом, вывозят из нашего «заведения» в бывшее женское «заведение», где теперь устроили якобы «больницу» для тифозных. Но пока придут сюда к больному, чтобы определить болезнь, проходят 4—5 дней, и больной лежит вместе с другими в переполненной камере в сильном жару. Теперь трудно добиться здесь даже фельдшера, не говоря уже о враче, видеть которого может только умирающий и то не от заразной болезни. Это некий г. Рыхлинский, поляк, который передразнивает польскую речь поляков-«пенсионеров», не умеющих говорить по-русски, и который ругает их последними словами. Все называют его палачом и рассказывают о его недавних издевательствах над больными каторжанами в так называемом Орловском централе. Только что я узнал о смерти одного заключенного, который две недели тому назад заболел у нас в камере; после 4 дней болезни, когда от сильного жара он не мог уже ходить, его взяли от нас в свою «больницу». Врач туда совсем не заглядывает, больные оставлены на произвол фельдшера, который к больным относится хуже, чем к собакам. А болен здесь почти

---

[1] То-есть политических каторжан и ссыльнопоселенцев. — Ред.

[2] Город Петроков (в Польше) к тому времени был уже взят австро-германскими войсками. — Ред.

каждый, иначе и быть не могло. Пища отвратительная, вечно безвкусная капуста — 5 раз в неделю и нечто вроде горохового супа—два раза; дают также 1—2 ложки каши ежедневно, но без масла, а что может дать такое количество? Единственное питание для тех, кто не имеет помощи из дому, — это полтора фунта черного хлеба (чаще всего с песком) или один фунт белого. Долго выдержать на такой пище нельзя. Все бледные, зеленые или желтые, анемичные. Белье меняют раз в 2 недели и дают грязное, вшивое. От паразитов избавиться невозможно, ибо в камерах тесно. Я, например, сижу в камере вместе с 60 другими (пару недель тому назад нас было 71 человек) в камере на 37 человек. А мы, каторжане, еще в привилегированном положении, ибо в таких же камерах пересыльные и военнообязанные сидели по 150 человек. Неудивительно, что среди них раньше всего появился тиф и больше всего уносит жертв. Я сижу сейчас в камере сухой, но большинство камер до того сырые, что капает с потолка и стены — мокрые.

Я живу здесь вместе с несколькими другими в одной коммуне, мы занимаемся вместе, некоторым я помогаю в учебе, и время быстро бежит, так быстро, что трудно поверить, что вот уже 8-й месяц с тех пор, как нас вывезли из Варшавы. Я получаю «Правительственный вестник», и мы знаем все, что можно узнать из телеграмм о теперешней войне. Мы живем в своей тесной компании, так как в камере имеются разные, совершенно чуждые нам люди и наши враги — те, кто попал сюда за предательство, за деньги, за шпионство. Отвратительные это люди. Но и среди остальных есть разные типы. Ничто в такой степени, как эта совместная жизнь, не открывает души человека. Познаешь ее, и тоска по другим условиям, по другой жизни становится еще сильнее, однако она исцеляет и предохраняет от пессимизма и разочарования. И если бы я мог писать о том, чем живу, то не писал бы ни о тифе, ни о капусте, ни о вшах, а о нашей мечте, представляющей сегодня для нас отвлеченную идею, но являющейся на деле нашим насущным хлебом... Когда я думаю о том, что теперь творится — о повсеместном якобы крушении

всяких надежд, я прихожу к твердому для себя убеждению, что жизнь зацветет тем скорее и сильнее, чем сильнее сейчас это крушение. И поэтому я стараюсь не думать о сегодняшней бойне, о ее военных результатах, а смотрю дальше и вижу то, о чем сегодня никто не говорит...

Я в общем чувствую себя совершенно здоровым и обеспечен всем необходимым...

Сколько времени я здесь пробуду — не знаю. Два месяца тому назад несколько человек вернули отсюда в Варшаву на суд. Вскоре я, вероятно, получу обвинительное заключение, и так как бумаги уже месяц находятся в Судебной палате, то, может быть, скоро переведут меня обратно в Варшаву. Временно не отправляют отсюда этапов из-за тифа.

Зосе я написал сразу после того, как получил ее первое письмо; подтверждения я еще получить не мог. Я рад, что она в Цюрихе и что Ясик держит себя молодцом.

Феликс

С. С. Дзержинской [1]

[Орел, Губернская тюрьма] 3 мая (20 апреля) 1915 г.

Дорогая моя Зося!

Только что меня известили, что еще сегодня я буду отправлен в каторжную тюрьму (здесь же в Орле). Ничего ужасного [2]. Говорят, что и там теперь не так плохо. Я иду туда совершенно спокойный, жаль только расставаться с товарищами. Но я вечный скиталец, и ничто меня не пугает. Впрочем, берут меня туда, вероятно, только по недоразумению, и я думаю, что через неделю-две вернут меня сюда обратно, потому что мои сопроцессники получили уже сегодня обвинительный акт, и мне также должны его вручить через несколько дней. Может быть, скоро перевезут нас уже

---

[1] Открытка отправлена без тюремной цензуры. — Ред.

[2] Орловский каторжный централ был известен зверским обращением с заключенными. — Ред.

в Варшаву. Физически и морально я чувствую себя хорошо, а последние сведения, если они верны, обещают и мне свободу.

От тебя я получил два письма; послал одно, повидимому, оно пропало. Быть может, ты получила от своего отца вести обо мне. Я ему писал пространно. Он сообщал мне, что Ясик опять захворал ангиной — это меня сильно беспокоит.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[Орел, Каторжный централ] 14 (1) августа 1915 г.

Дорогая Зося моя!

Все твои письма и открытки, кажется, получил, последней была открытка от 25/VII... Каждое письмо твое было для меня праздником, ибо я узнавал хоть что-нибудь о тебе и Ясике нашем... Так ужасно иногда тоскую о нем, но пусть сердце молчит, — придет ведь время, а я так уверен, что скоро уже, и я увижу вас и буду с вами... А теперь я живу в каком-то оцепенении, в какой-то душевной неподвижности, как во сне...

Обо мне не беспокойся, я здоров совершенно, и сил у меня много, и обеспечен всем. Сижу с другим, с человеком, с которым хорошо сидеть, и время быстро проходит.

Здесь лучше, чем было в Губернской. Тихо, нет пыли, нет паразитов, баня каждые 10 дней, чистое белье, прогулки $1/2$ часа. Не знаю, когда будет второе дело, обвинительный акт я получил уже 2 месяца тому назад, срок же моих 3 лет, по моим расчетам, закончится 29/II 1916 года по ст. стилю, и тогда меня, вероятно, переведут обратно в Губернскую.

О ходе войны я знаю, дают нам телеграммы, а кроме того, разрешили теперь выписывать «Правительственный вестник», и я буду его получать с сегодняшнего дня. О Юльке[1] я писал из Губернской твоему отцу, думая, что он как-нибудь известит жену Юлька.

---

[1] Юлиан Хан, рабочий-горняк из Домбровы, член социал-демократии Польши и Литвы. — Ред.

Он умер, кажется в январе, от чахотки. Все время, с момента приезда своего в Орел, выглядел ужасно, хотя ни на что не жаловался, умер в больнице, где пролежал несколько недель, среди чужих людей; умер тихо, не знал, что умирает. Числа не помню, кажется в январе или феврале — пусть жена его напишет сама администрации; я думаю — ей ответят.

Я так давно не имею ни слова от Альдоны, что прямо беспокоюсь; писал ей месяц назад в ответ на ее письмо от 10/VI и с тех пор от нее ни слова. Все карточки Ясика я переслал на хранение брату, потому что здесь нельзя их держать при себе, но я их помню и иной раз, когда лежу с закрытыми глазами, вижу эти карточки, и так больно, что не могу вызвать образ самого Ясика. Сынок мой милый, счастье мое, целую тебя и обнимаю крепко-крепко, мой мальчик; я приеду, мы увидимся, будь только терпелив, придет время, будь здоровым и хорошим, добрым мальчиком.

Пиши мне, милая, как только будет свободное время.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[Орел, Каторжный централ] 14(1) сентября 1915 г.

Дорогая Зося моя!

Пишу открытку, чтобы письмо вернее дошло. Не беспокойся обо мне, я здоров совершенно и всем обеспечен. А тоска ужасная — ведь это мой удел, пока не кончится все это. Жду, и день за днем проходит, бегут недели и месяцы. Сегодня 3 года ровно. Я спокоен, не рвусь, как будто уже сил больше нет и совершенно одеревенел, и все мое существование было бы только кошмарным сном, а не действительностью.

И жду пробуждения, и спокоен, потому что уверен, что оно придет. А ты, дорогая, пиши мне — все твои письма и печальные и радостные известия — это моя почти единственная действительность... Как ты устроилась теперь, когда урок уже кончился, нашла ли что-нибудь новое?

Иногда такая тоска охватывает меня по солнышку

нашему Ясику, по его голосу, ручкам, которые бы обняли, по губкам его и всему ему, что просто не верится, что так есть, как есть, что вы там, а я здесь... Обнимаю его и целую. Когда придет это время?

Но не нужно быть слабым... Все, все, что жизнь нам шлет и принесет еще, перенесем... Пиши мне, Зося, как только будет желание и свободная минутка.

Что теперь с нашей семьей, могла ли она вернуться в Варшаву?[1] Что с отцом твоим, пошли ему мои сердечные приветы. От Альдоны я имел открытку, что она осталась в Вильно, но мое письмо к ней пропало. Я снова получаю «Правительственный вестник». Денег у меня достаточно. Книжки тоже есть, и время быстро проходит. Когда Роза вернется с отдыха[2], пошли ей от меня самые сердечные приветы, ей и семье ее[3].

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[Орел, Каторжный централ] 15(2) октября 1915 г.

Милая Зося моя!

Обо мне не беспокойся — здоровье сносное, питаюсь хорошо. По моим расчетам, через 4 месяца, 13/III (29/II) 1916 года, окончится мой срок[4], и тогда, вероятно, переведут в Губернскую, где придется ждать конца войны, так как ожидать раньше суда нельзя. Здесь лучше, чем в Губернской, но я буду рад переводу, так как однообразие и стоглазая скука одолевают меня. От братьев и сестер я не имею теперь никаких известий. Альдона осталась в Вильно, но детей отослала. Игнась остался в Варшаве. О событиях войны знаю,

---

[1] «Семья» — это польские социал-демократы, находившиеся в эмиграции в Германии и Австрии. Варшава была тогда оккупирована немцами. — Ред.

[2] Речь идет о Розе Люксембург, в то время она сидела в германской тюрьме. — Ред.

[3] Ф. Э. имеет в виду руководителей польской социал-демократии. — Ред.

[4] Срок каторги по первому приговору — за побег из сибирской ссылки. — Ред.

так как выписываю «Правительственный вестник», но изнервничался настолько, что не читаю, а просматриваю только. Время убиваю чтением. Расшатались нервы. Да и состарился порядочно, через год, по всей вероятности, и без волос совсем останусь. Днем апатия — это обычное мое состояние. Теперь только письма твои прогоняют ее. А по ночам постоянно сны — настолько выразительные, как будто явь...

А теперь, Ясик мой любимый, солнышко, радость моя! Я смотрю на тебя, на карточки твои и крепко обнимаю тебя и целую. Когда мы будем вместе, мы будем смеяться и радоваться, играть и слушать, как мамуся будет играть на рояле. И пойдем все вместе, взявшись за руки, гулять, собирать цветы и слушать, как птички поют и деревья своими листьями шумят. Будем гоняться друг за другом и, обнявшись, сидеть и рассказывать друг другу. И это будет наш праздник, и радостно нам будет. А теперь, когда я должен быть в Орле и не могу еще приехать, я думаю о тебе и ты думаешь обо мне, и я знаю, что ты будешь рад, когда придут к тебе слова мои, как я был страшно рад твоему письму, твоим словам дорогим.

Ваш Феликс

С. С. Дзержинской

[Орел, Каторжный централ] 17(4) января 1916 г.

Зося! Моя дорогая!

Два месяца назад 15(2)XI 1915 года я написал тебе и Ясику большое письмо и с тех пор получил открытку от 6/XII и хорошую карточку. Значит, письма моего ты не получила, а выслал я его заказным и был уверен, что не пропадет; а теперь я себя попрекаю, что в декабре не выслал хотя бы открытки. Ты прости мне, что я так редко писал... Моя жизнь — без жизни, о ней нечего писать... Я тут сижу вот четвертый год — никому не нужный, бессильный во всем. Ясик, благодаря твоему уходу, вырос за это время такой большой. Когда мы увидимся, когда прижму его к стосковавшемуся сердцу? Живу этой мыслью, а вместе с тем действительность каждого дня столь чужда и далека от этой

надежды, что кажется, будто никогда не придет эта сладкая минута...

В моей жизни нового мало, сижу теперь один вот уже 2 месяца, чем очень доволен. Через два месяца мой срок за побег кончается (29/II по ст. стилю), и меня, по всей вероятности, переведут обратно в Губернскую, чтобы там, должно быть, ждать конца войны. Надеяться раньше на суд невозможно. Время коротаю чтением. Привет сердечный семье твоей и знакомым.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[Орел, Каторжный централ] 17(4) февраля 1916 г.

Дорогая моя Зося!

Месяц назад я написал горькое письмо и в момент сдачи его я получил сразу 2 твоих и Ясика письма. Но написать новое письмо я уже не мог. Прости меня поэтому, но я так беспокоился, не зная, чем объяснить твое молчание, а воображение подсказывало всякие ужасы. Но все хорошо, что хорошо кончается. А твои 2 открытки от 4 и 7/I меня еще более успокоили. Ты, друг мой, не должна испытывать тяжелого чувства, когда думаешь обо мне, читаешь письма мои. Ведь что бы меня ни ожидало, какие бы настроения ни приходилось переживать, у меня никогда нет в душе бесплодных жалоб. И даже тогда, когда тоска как бы одолевает меня, все-таки в глубине души я сохраняю спокойствие, любовь к жизни и понимание ее, себя и других. Я люблю жизнь такой, какая она есть в ее реальности, в ее вечном движении, в ее гармонии и в ее ужасных противоречиях. И глаза мои видят еще, и уши слышат, и душа воспринимает, и сердце не очерствело еще. И песнь жизни живет в сердце моем... И мне кажется, что тот, кто слышит в своем сердце эту песнь, никогда, какие бы мучения ни переживал, не проклянет жизни своей, не заменит ее другой, спокойной, нормальной. Ведь эта песня все, она одна остается — эта песнь любви к жизни. И здесь, в тюрьме, и там, на воле, где теперь столько ужасов, она жива, она вечна, как звезды: эти звезды и вся краса природы рождают

ее и переносят в сердца людские, и сердца эти поют и вечно стремятся к воскресению. И когда небо безоблачно, и вечером заглянет ко мне за решетку звездочка и как будто что-то говорит тихонько, когда, забывшись, я как бы вижу живую улыбку Ясика и глаза его, полные только любви и правды, когда живо вспомню лица и имена друзей, тех, кого люблю, — тогда на душе у меня так хорошо, так тихо, как будто сам я ребенок еще чистый и без лжи славлю жизнь, не помня о себе и своих мучениях...

В постскриптуме к моему последнему письму я советовал тебе, если только можно, вернуться на родину [1]. С тем, что наша переписка может затрудниться или вовсе прекратиться [2], не следует считаться. Ты должна жить — вот самое главное и решающее.

Обо мне не беспокойся — я совершенно здоров, кашель не возвращается уже, в камере тепло (да и зима в этом году безморозная на удивление), топят достаточно, питаюсь тоже хорошо. Через $3^1/_2$ недели переводят меня, как я уже писал, в Губернскую.

А теперь пару слов и все мое сердце, и все мои ласки Ясику нашему, которому купи от меня шесть цалусков [3], — ведь я все-таки не так скоро увижу его. Солнышко мое, моя звездочка, Ясик мой, милый, дитя мое, целую тебя крепко я, татусь твой, Фелек. Когда меня освободят, я сейчас же приеду к тебе, сяду на поезд, и он все ближе и ближе к тебе меня будет везти и привезет к тебе, и ты выйдешь с мамусей мне навстречу, и я увижу первый тебя и узнаю, и подыму высоко-высоко, и обниму крепко-крепко, и поцелую Яська моего горячо-горячо. Будь же здоровый и хороший и расти, Ясеньку мой. Твой татусь Фелек.

Как живет тетя Левицкая — или же ты с ней снова разошлась? [4]

Твой Фел[икс]

---

[1] В Варшаву из эмиграции. — Ред.

[2] Посылать письма в Россию из Варшавы, находившейся тогда под немецкой оккупацией, было невозможно. — Ред.

[3] Цалуски — мятные пряники. — Ред.

[4] Условное выражение. Тетя Левицкая — ППС Левица. В период войны 1914—1918 годов наступило сближение между СДПиЛ и ППС Левицей. — Ред.

С. С. Дзержинской

[Орел, Губернская тюрьма] 2 апреля (20 марта) 1916 г.

...Я спокоен и не чувствую себя плохо. День быстро проходит: почти целый день учу грамоте товарищей. На этой неделе, должно быть, переведут всех нас в Московскую Губернскую тюрьму (а не в Бутырки), так как Московская палата уже назначает наши дела к слушанию...[1]

Ваш Феликс

С. С. Дзержинской

[Москва, Губернская тюрьма] 27(14) апреля 1916 г.

Дорогая Зося!

Три недели уже, как я нахожусь здесь, и надеюсь, что на этих днях получу от тебя весточку. В самом непродолжительном времени уже будет рассмотрено и мое дело, но срок мне еще не объявлен. О приговоре ты, наверное, узнаешь из газетной хроники; говорят, что теперь приговоры по политическим делам не будут столь суровы, — но об этом я меньше всего думаю и гаданьем вовсе не занимаюсь. Сижу я в одиночке, но вдвоем. Предпочел бы сидеть один, тем более, что попал неподходящий для меня сотоварищ... Снова читаю, и время уходит, приближается развязка. Жизнь здесь по тюремному масштабу сносная, и я не так оторван от жизни вообще, как в Орле. Здесь живет, кажется, сестра моя Ядвися, она бежала из Вильно, но еще не знает, что я здесь. Я писал ей, и если она не уехала, то придет на свидание.

Твой Феликс

---

[1] Срок каторги Ф. Э. (за побег из Сибири) истек в феврале 1916 года, но он привлекался к ответственности по второму делу — за революционную деятельность в 1910—1912 годах. В апреле 1916 года его отвезли на суд в Москву и снова приговорили к шести годам каторги. Из Бутырок, где он отбывал каторгу, его и освободила Февральская революция. — Ред.

С. С. Дзержинской

(Москва, Губернская тюрьма) 26(13) мая 1916 г.

Дорогая моя Зося!

О приговоре моем ты, наверное, уже знаешь из газет: 6 лет (каторги), но зачли мне 3 года, так что остается 3. Самое главное то, что носить кандалы не придется, так как кандальный срок прошел в зачтенных мне 3 годах[1]. Приговор мой войдет в законную силу через 17 дней, и меня скоро (может быть, через месяц) переведут в Каторжную тюрьму. Буду хлопотать, чтобы оставили в Москве в Бутырках.

Сижу, как и раньше, вдвоем, но на прогулке гуляет нас 10 человек, и потому я не так уж одинок. Я доволен, что переведут меня в Каторжную, надоела одиночка, и, может быть, поставят на какую-нибудь работу — скорее время пройдет и укрепятся несколько мускулы. А время все-таки ужасно быстро летит. Ведь Ясик уже такой большой, и через месяц ему уже исполнится целых пять лет. Мой дорогой, милый мальчик. И когда я думаю, сколько ты в связи с ним пережила страданий, горя и муки, я помню и о всем счастии, которое он дает, и завидую тебе, и радуюсь за тебя, и тоскую по нему... Нужно иметь минуты счастья, чтобы жить и быть светлым лучом в жизни, вызывающим кругом радость, и чтобы уметь страдать и не быть сломленным ничем, ничем... Сказка ласки материнской остается на всю жизнь... Ясик мой, когда глаза мои отдохнут, видя тебя? Когда ты будешь рядом со мной и все заботы мои и мысли горькие отлетят? Когда я сам стану, как ты, когда буду с тобою смеяться и играть? Придет время, оно идет и, может быть, близко.

Ваш Фел[*икс*]

Ясику Дзержинскому

(Москва, Губернская тюрьма) 6 июня (24 мая) 1916 г.

Милый мой Ясик! Я получил твое письмо (от 11/IV), которое ты мне послал с высокой горы Губель. Оно,

---

[1] Все же Ф. Э. пришлось еще носить кандалы продолжительное время. — Ред.

как маленькая птичка, летело ко мне и долетело. Оно теперь со мной в камере моей, и мне весело, что мой Ясик помнит меня и что он здоров. Да, мой милый, когда я вернусь, мы пойдем и на еще более высокую гору, высоко-высоко, туда, где тучи ходят, где белая шапка снега покрывает верхушку горы, где орлы вьют свои гнезда. И оттуда будем смотреть вниз на озера и луга, деревни и города, зеленые рощи и бурые голые скалы, и вся жизнь будет перед нашими глазами. Я буду рассказывать тебе о своей жизни, где я был и что видел, как радовался и горевал и как люблю тебя, сынок мой, и мы будем говорить о тебе, — что ты любишь и кого ты любишь, кем ты будешь, каким сильным и хорошим, какой радостью для мамуси, для меня, для людей; что ты будешь делать, когда вырастешь.

Цветочки, которые ты собрал для меня и прислал, тоже у меня в камере. Я смотрю на них и на карточку твою и думаю о тебе. Мы будем вместе любоваться живыми цветами на лугах — белыми и красными, желтыми и голубыми, всеми, и будем смотреть, как пчелы на них садятся и ароматный сок их собирают. И будем слушать музыку — и пчел, и цветов, и деревьев, и птичек, и звон колокольчиков, а потом дома будем слушать, как мамуся играет; а мы будем тогда тихо сидеть и молчать, чтобы не помешать ей.

А теперь до свидания, мой добрый. Целую и обнимаю тебя крепко-крепко.

Твой папа Фелек

С. С. Дзержинской
(Москва, Губернская тюрьма) 24(11) июля 1916 г.

Дорогая моя Зося!

Я долго не писал, хотя и собирался написать большое письмо, но как-то так вышло, я все ожидал сообщения, что меня переводят в Бутырки. Между тем, кажется, я еще некоторое время останусь здесь, в Губернской, и буду здесь учиться портняжеству, то-есть шить на машине, а затем буду в Бутырках поставлен на работу. Во всяком случае, я доволен, что, по всей

вероятности, оставят меня в Москве... Я теперь не один сижу, и я доволен моим сотоварищем. Все остальное по-старому. Всем обеспечен, здоров совершенно, и время быстро идет и приближает день возврата к жизни, к своим... Не огорчайся из-за меня, приходится все пережить, ведь это не случайность — это судьба моя, и сил у меня много, да и судьба эта лучше стольких других. Теперь, когда буду работать, время пройдет еще быстрее.

Ваш Феликс

С. С. Дзержинской

(Москва, Губернская тюрьма) 2 августа (20 июля) 1916 г.

Дорогая моя Зося!

Что-то давно не имел от тебя известия, а в последнем твоем письме от 14/VI было о нездоровье Ясика. Может быть, ты пишешь в Бутырки? Меня же, по всей вероятности, оставят еще на пару месяцев в Губернской, чтобы здесь научиться шить на машине. Пиши мне сюда, все равно, если меня переведут раньше — письмо мне отсюда перешлют. Я немного беспокоюсь из-за твоего молчания, а письма твои столько радости и жизни вносят в камеру.

Что с Юльком? [1] Без его поддержки тебе теперь, наверное, очень тяжело. Как ты решила насчет отъезда к отцу? Мне недавно снился Ясик, как живой остался потом в памяти, — и тоска грызет. Когда увидимся и будем вместе? Не могу иной раз думать — лучше озлобить сердце свое, одеревенеть и стать чурбаном. Жизнь влечет, но пусть заснет тоска, и сердце пусть умолкнет... Кругом холодные стены... Смотрю сквозь решетку на бегущие тучи, на ласточек и голубей, на небо запада все в огне и красках — и спокойствие снова возвращается и надежда. Жизнь, великая, непобедимая жизнь!

Феликс

---

[1] Юлиан Мархлевский был заключен в Германии в концентрационном лагере в Гафельберге. — Ред.

3 августа. Все-таки меня сегодня переводят уже в Бутырки — пиши туда.

С. С. Дзержинской
[Москва, Центральная пересыльная тюрьма]
16(3) сентября 1916 г.

Дорогая Зося!

Вот я уже работаю. Начал позавчера, и, кажется, работа хорошо повлияет на мое настроение и тем самым на здоровье. Комиссия меня освободила от тяжелых работ, и я теперь подручный у портного, через пару месяцев научусь шить на машине и надеюсь, что скоро буду зарабатывать столько, что всякая поддержка от родных будет излишней. Я все еще ношу кандалы, но надеюсь, что мой двухлетний кандальный срок поглотится засчитанными мне тремя годами. Впрочем, кандалы не особенно меня беспокоят, надоедает только вечное бряцание. Но к чему человек не привыкает! Я пишу тебе откровенно, и ты, дорогая, не огорчайся. Я сам спокоен и только рассказываю тебе все это, без тени жалобы и печали. Я спокоен, в душе уверенность, что мы увидимся и будем вместе ласкать наше солнышко — Ясика и рассказывать друг другу о давно прошедшем.

Сегодня после долгих дней снова показалось солнце, заглянуло в камеру и прислало нам свои ласковые, согревающие лучи, и на сердце у меня сегодня так тихо, как в хороший, теплый еще осенний день. Столько лет уже прошло, столько страданий и мучений, и, однако, сердце способно все забывать и радоваться от одной мысли об улыбке — улыбке ребенка, — уже человека, маленького Ясика, об его глазках без фальши, чистых и глубоких. И я теперь отдыхаю, думая об отдыхе, который они мне дадут в будущем. Ведь это будет праздник, какого никогда в жизни еще не было; и мне кажется, что при нем и с ним вернется даже моя молодость и весна.

Я сижу в общей камере, но я этим доволен. Мы все работаем, на работу из камеры уходим, и воздуху в ней достаточно. Сплю теперь я крепче и лучше, и сразу вернулся аппетит. Я шью, и мне жаль, что,

научившись шить, я не смогу ничего смастерить для Ясика. Но ты скажи ему, что я работаю и что, если не могу прислать ему что-нибудь, сшитое мною, то это потому, что этого нельзя сделать и вы так далеко от Москвы.

Как ты решила относительно возвращения домой? Я знаю, как страшно тяжело сидеть вдали от жизни, пусть эта жизнь даже будет самая мучительная, — и я радуюсь, думая, что, может быть, тебе удастся вернуться в свою среду.

Теперь письма от меня могут быть только раз в один или два месяца, и поэтому не беспокойся обо мне... Я здоров, недомогание было только случайное, и я никогда не хотел бы, чтобы мысль обо мне могла мешать жить тем, которых я люблю. Пусть и Ясик так тебя и меня любит — это он может понять: так, чтобы любовь не связывала, а развязывала, обогащала жизнь любимого, заставляла его жить всей своей душой, широкой и богатой.

Ваш Фел[*икс*]

С. С. Дзержинской

[Москва, Центральная пересыльная тюрьма] 29(16) октября 1916 г.

Милая моя Зося!

Только на-днях я получил твою открытку от 23/IX. Страшно долго идут письма. Как же ты устроилась? Ведь ужасно тяжелой должна быть разлука с Ясиком, и как чувствует себя Ясик? Я с нетерпением буду ждать от тебя вестей. А у меня никаких перемен. Я писал тебе из больницы и потом отсюда. Вот уже $1^{1}/_{2}$ месяца, как работаю, и время быстро проходит — и каждый вечер одно чувство: днем меньше, и днем ближе к воле и нашей встрече. Я совершенно здоров, работа меня лечит, и апатия проходит. Работа не тяжелая. Вообще условия довольно сносны. Ядвися приходит ко мне раз в месяц. Вообще жизнь однообразна, как всегда в тюрьме, и скучна. Но работа, и сон, и чтение так заполняют день, что на хандру нет времени. Во сне я почти всегда гуляю на воле. А когда лягу

перед сном, закрою глаза, я так ясно вижу лица близких мне и Ясика, каким я его себе представляю; лица — в постоянном движении, меняются, как в калейдоскопе, — переходят друг в друга... Я так давно не писал Ясику, но я о нем помню всегда, я им счастлив. Обними его крепко от меня — я вернусь, и нам радостно будет...

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[Московская Центральная пересыльная тюрьма] 19(6) ноября 1916 г.

Зося моя, милая!

Я счастлив, что наш Ясик уже с тобою — ведь вместе вам будет лучше. И я так понимаю слезы радости нашего мальчика. Когда я узнал, что он один остался, а ты одна должна была уехать — я испытывал такое горе, как будто я был с вами и нам пришлось расстаться. И я думаю о том радостном дне, когда и я вернусь и увижу вас и обниму. Это исполнится, хотя я так свыкся с отталкивающей и изнуряющей обстановкой, что порой кажется, будто она меня навсегда уж поглотила, и будущая встреча и жизнь кажутся радужной, никогда не осуществимой мечтой. Но наша мечта осуществится, а пока вы должны жить возможно глубокой и полной жизнью, а обо мне думать, как о близком друге, для которого мысль о вас — вся его поддержка и радость. Ясик мой, я часто, часто за работой и когда гуляю, думаю о тебе, и посылаю тебе радостную улыбку, и хочу, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты сам был хороший, как всегда, любимый и здоровый, чтобы вырос сильным и мог хорошо работать. Обнимаю тебя и горячо целую.

Ваш Феликс

С. С. Дзержинской

[Москва, Центральная пересыльная тюрьма] 3 декабря (20 ноября) 1916 г.

Дорогая Зося моя!

Я получил последнее твое письмо от 15/X, и, как

всегда, слова твои дали мне радость и спокойствие. Надежда вернуться не покидает меня никогда, и я живу этой уверенностью. Слова твои говорят мне о дорогих моему сердцу, и я как бы ощущаю вашу близость и нашу общность. Исчезает одиночество и горькие думы бессилия и отрезанности от живой, деятельной жизни. В душу вливаются новые силы и сознание необходимости не опуститься, выдержать все до конца. Я не знаю, сколько от меня останется, когда придет и мое время, буду ли способен жить настоящей жизнью, быть самому светлым лучом. И эти горькие мысли иногда отравляют мне душу. Но тогда меня спасает Ясик. Любовь моя дает мне чувство, что он сын мой, что в нем жить будет моя молодость, я сам, и что я увижу его еще, и что если сохранились еще во мне силы — он пробудит их и вызовет к действию. И у меня спокойно на душе. Пусть будет, что должно быть. И если силы мои будут не те, мир не перестанет быть прекрасным, а в душе не перестанет никогда раздаваться гимн жизни, гимн любви... Все наши страдания кажутся мелочью, ибо они не смогут уже измельчить наших душ. Единственное счастье человека — это уметь любить и, благодаря этому, уловить идею жизни в ее вечном движении. И я благословляю судьбу мою и судьбу всех дорогих мне, что она дала нам это сокровище.

С обстановкой моей «жизни» я свыкся уже, ее легче пережить самому, чем думать, что другой должен пережить все это. Но наши испытания еще не так ужасны, и как-то стыдно о них думать теперь, в настоящее время ужасов войны.

На-днях меня раскуют, впрочем в последнее время, когда я совершенно оправился от болезни, кандалы не особенно мучили меня. Приноравливаешься ко всему. Работа тоже меня не утомляет, работаю немного, так как день теперь короткий, а тот коридор, на котором я работаю, не имеет достаточного освещения. Пока я работаю как подручный при двух товарищах, они шьют на машинах, а я исполняю всю ручную работу. Живем мы дружно и не отравляем друг другу жизни.

В октябре и ноябре я заработал на выписку[1] по 9 рублей с копейками. Денег не присылай. Мне, право, они не нужны, так как у меня есть деньги, и, кроме того, тот, кто работает, может делать выписки, только на заработанные деньги. Я же, кроме того, получаю передачу раз в месяц от сестры на свиданьи, так что я питаюсь достаточно. Работа же хорошо действует на нервы — так что, в общем, я не могу жаловаться. Я рад, что сижу не в одиночной камере, а вместе с другими. Вдвоем сидеть ужасно тяжело, сидя с многими, гораздо легче уединиться, когда захочется, и легче найти симпатичных людей и сжиться с ними.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[Москва, Центральная пересыльная тюрьма] 31 (18) декабря 1916 г.

Милая Зося моя!

Вот уже пришел последний день и 16-го года, и хотя не видно еще конца войны — однако мы все ближе и ближе ко дню встречи и ко дню радости. Я так уверен в этом... Что даст нам 17-й год, мы не знаем, но знаем, что душевные силы наши сохранятся, а ведь это самое важное. Мне тяжело, что я должен один пережить это время, что нет со мной Ясика, что не вижу его развивающейся жизни, складывающегося характера. Мыслью я с вами, я так уверен, что вернусь, — и тоска моя не дает мне боли. Ясик все растет, скоро ведь уже будет учиться. Пусть только будет здоровым — солнышко наше.

У меня жизнь все та же, кандалы только сняли, чтобы удобнее было работать. Работа не утомляет меня; до сих пор она даже укрепляла и мускулы и нервы. Ядвися приходит ежемесячно, и, таким образом, я не оторван совсем от своих, а о событиях я узнаю из «Правительственного вестника» и «Русского инвалида». Питаюсь в общем достаточно, так что обо мне не надо беспокоиться. Кажется, теперь можно перепи-

[1] Выписка продуктов. — Ред.

сываться с родиной[1], может быть, теперь у тебя есть известия о жизни наших родных[2].

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[Москва, Центральная пересыльная тюрьма] 14(1) января 1917 г.

Милая Зося моя!

Передо мной письмо твое от 24/XI и вырезки Ясика. И когда я смотрю на них и думаю, что они были в его ручках, что он сам их вырезывал, играя, и улыбаясь, и учась вместе с тем, — волна неиссякаемой любви и нежности к нему переполняет сердце мое, и я говорю ему самые нежные слова и посылаю пожелание, чтобы рос крепким, добрым и сильным, чтобы вырос и был ясным лучом — умел сам любить и быть любимым. Нашей встречи мы терпеливо должны ждать, и время скоро пройдет — тогда Ясик будет уже большим мальчиком, целым человеком — и, быть может, больше нам не нужно будет разлучаться, и, быть может, вся жизнь наша станет лучше, нормальнее. Я живу этими мечтами и хочу дождаться этого. Хочу еще почувствовать, что я жив и мои силы еще не иссякли. Быстро идут дни за днями, и вот уже проходит 8 месяцев со дня моего последнего суда. Мысль обо мне не должна тревожить тебя, железа нет уж у ног моих, питаюсь сносно, в камере тепло и одет сам тепло. Помни, что всякая радость твоя и Ясика — моя радость, она дает мне силу и волю ждать и дождаться нашей весны.

Твой Феликс

С. С. Дзержинской

[Москва, Центральная пересыльная тюрьма] 4 марта (19 февраля) 1917 г.

Милая Зося моя!

Последний раз я писал тебе заказным письмом

---

[1] Ф. Э. имеет в виду Варшаву. — Ред.

[2] Ф. Э. имеет в виду жизнь социал-демократической организации в Польше. — Ред.

14(1)/I — 17 года. С тех пор я получил письмо твое и открытку от 4 и 26/XII и открытку Ясика от 25/XII. Карточек Ясика я не получил, хотя расписался на повестке 2 недели тому назад. (Я думаю, что это были карточки.) Я уже радовался, что снова увижу, хотя бы на бумаге, сынулю моего милого — хотя бы на короткое время. Здесь в камере карточек нельзя держать — даже малого сынка, но я надеялся, что мне дадут хотя бы один день посмотреть на нее. Может быть, дадут еще. Передо мною открытка Ясика, раскрашенная им, и слова его ко мне, мысли, чувства и улыбка. С какой радостью я с тобой, милый мой, пускал бы в воздух мыльные пузыри, чтобы они, радужные и прекрасные, носились плавно по воздуху, а мы следили бы за ними, задрав головы и поддувая, чтобы они не упали. И я думаю о том, что, когда ты подрастешь, будешь большим и сильным, мы научимся сами летать на аэроплане и полетим, как птицы, к высоким горам, к облакам на небе, — а под нами будут села и города, поля и леса, долины и реки, озера и моря, весь мир прекрасный. И солнце будет над нами, — а мы будем лететь. Ясик мой, не огорчайся, что я теперь не с тобой, иначе не может быть, я люблю тебя, мое солнышко, и ты радость моя, хотя я тебя вижу только во сне и в мыслях. Ты вся радость моя. Будь хорошим, добрым, веселым и здоровым, чтобы всегда быть радостью для мамуси, для меня и для людей, чтобы, когда вырастешь, трудиться, радоваться самому своей работой и радовать других, быть им примером. Я целую тебя и крепко-крепко обнимаю — сынулю моего.

Я так редко пишу, но это лишь потому, что жизнь здесь так сера и однообразна. Я застыл тут, а человек, как и все живое, — вечно в движении, вечно в нем что-то умирает и нарождается, каждый момент его — это новая жизнь, проявление скрытых сил, возможностей: жизнь текуча, и в этом ее красота. Всякое желание и попытка остановить ее, увековечить момент счастья или несчастья — это смерть для жизни, рабство. Поэтому я отворачиваюсь теперь от своей жизни — стоячего болота, — и не хочется мне о ней писать и расписывать. Теперь я дремлю, как медведь зимой в своей берлоге,

осталась только ясная мысль, что весна придет и тогда перестану сосать свою лапу и все оставшиеся еще в душе и теле силы проявятся. Буду жить...

Можно ли теперь свободно переписываться с Варшавой? Как там живут наши родные? [1] Стремлюсь туда всей душой...

Твой Феликс

С. С. Дзержинской
Москва. 31(18) марта 1917 г.

Дорогие мои Зося и Ясик!

Получили ли вы мою телеграмму и открытку, отправленные после моего освобождения?

Теперь уже несколько дней я отдыхаю почти в деревне, за городом, в Сокольниках, так как впечатления и горячка первых дней свободы и революции были слишком сильны, и мои нервы, ослабленные столькими годами тюремной тишины, не выдержали возложенной на них нагрузки. Я немного захворал, но сейчас, после нескольких дней отдыха в постели, лихорадка совершенно прошла, и я чувствую себя вполне хорошо. Врач также не нашел ничего опасного, и, вероятно, не позже чем через неделю я вернусь опять к жизни.

А сейчас я использую время, чтобы заполнить пробелы в моей осведомленности [о политической и партийной жизни] и упорядочить мои мысли...

Я уже с головой ушел в свою стихию [2].

Твой Фел[икс]

---

[1] То-есть товарищи по партии. — Ред.

[2] В партийную работу в рядах Коммунистической партии. — Ред.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3
Автобиография 8
Из дневника. *1908—1909 годы* . . 12
Письма к родным. *1898—1917 годы* 87

Дзержинский Феликс Эдмундович

ДНЕВНИК И ПИСЬМА

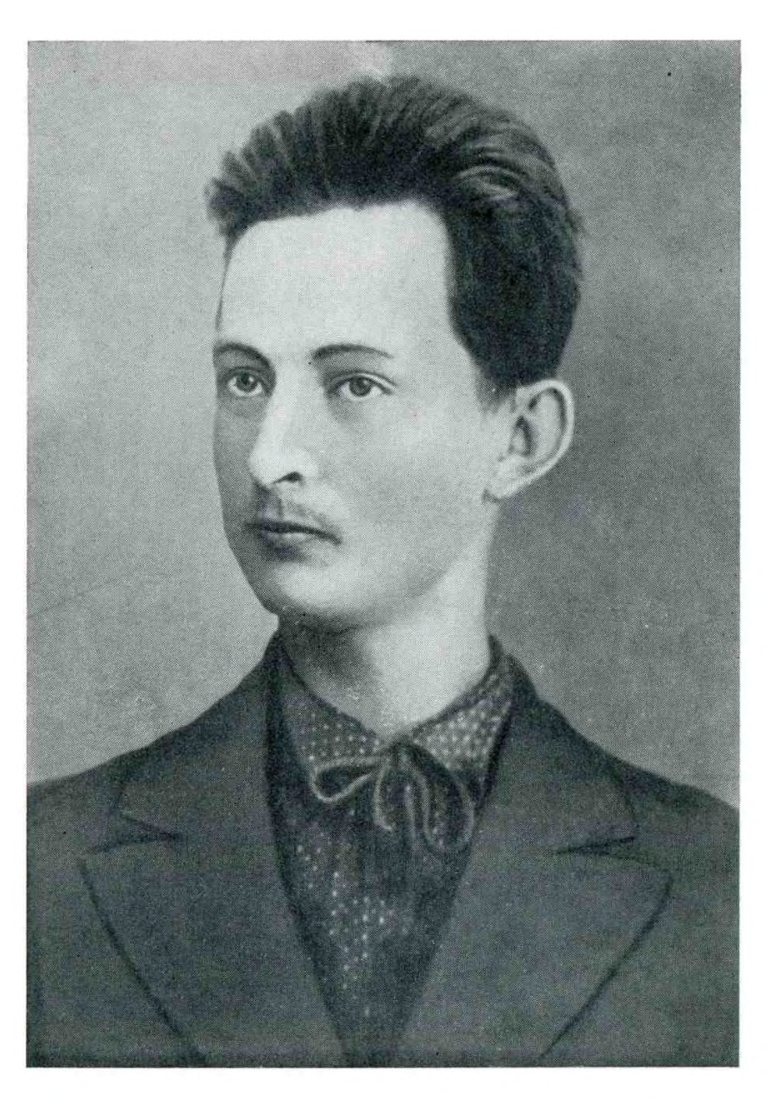
Редактор *Л. Антипина*
Оформление *А. Пушкарева*
Художественный редактор *Н. Коробейников*
Технический редактор *Э. Петрова*

*

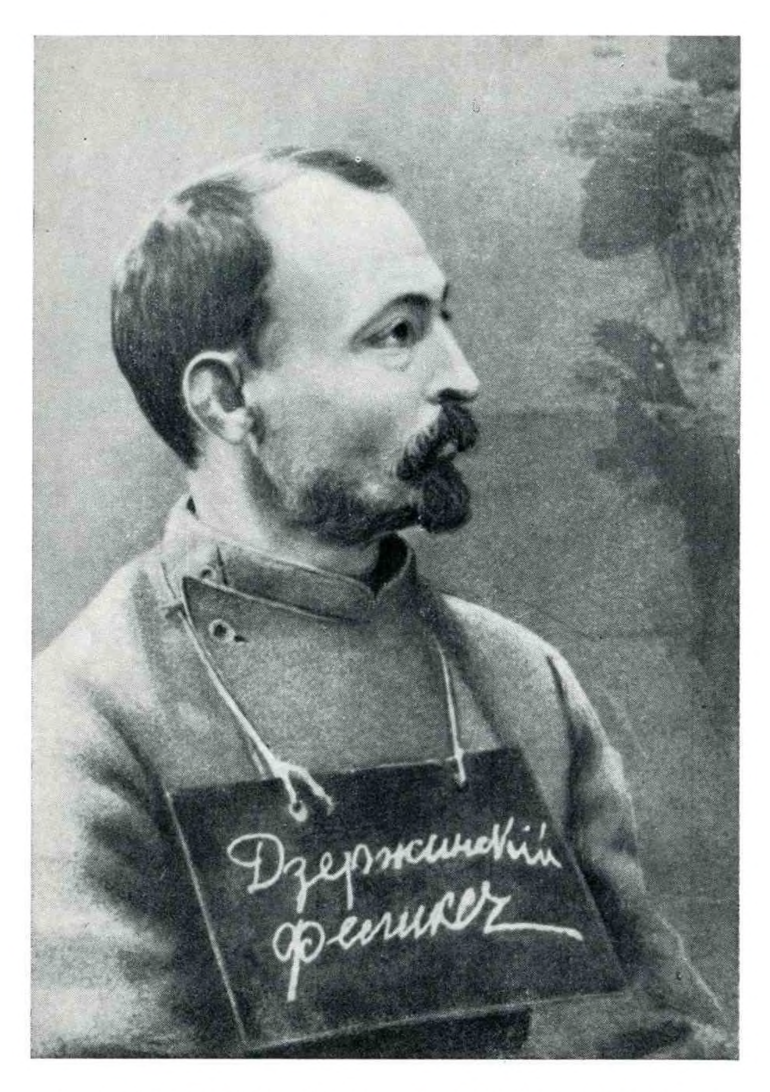
А00057 Подп. к печ. 14/IV 1956 г. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$ = 3 бум. л. = 9,84 печ. л. + 3 вкл. Уч.-изд. л. 9,3 Тираж 150 000 экз.
Цена 3 р. 85 к. Заказ 2868

*

Типография „Красное знамя“ изд-ва „Молодая гвардия“. Москва, А-55, Сущевская, 21.



Ф. Э. Дзержинский в Ковенской тюрьме. 1898 г.



Ф. Э. Дзержинский в Орловской губернской тюрьме. 1914 г.



Ф. Э. Дзержинский. 1919 г.



Ф. Э. Дзержинский во время поездки в Сибирь. 1922 г.

3 р. 85 к.